

Л. Н. ГОЛСТОЙ
ДЕТСТВО
ОТРОЧЕСТВО

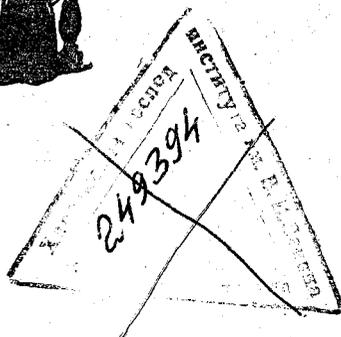


ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Школьная библиотека
для русских школ

Л. Н. ТОЛСТОЙ

ДЕТСТВО
ОТРОЧЕСТВО



МОСКВА

„Детская литература“

1974

014003 ✓

Текст печатается по изданию: «Л. Н. Толстой.
Собрание сочинений в двадцати томах.
Том первый. М., ГИХЛ, 1960».

«Детство» — первое произведение Льва Николаевича Толстого (1828—1910). Оно было написано в 1851—1852 годах как первая часть задуманного большого романа «Четыре эпохи развития». Толстому было тогда 23 года. Вторую часть, «Отрочество», он закончил в 1854 году; третью, «Юность», он начал писать в Севастополе в 1855 году, в дни героической обороны города, а закончил в 1856 году. Четвёртая часть, «Молодость», осталась ненаписанной.

По словам Толстого, в этих трёх частях описана история не его семьи, а приятелей его детства, однако он сам указывает на некоторое смешение событий их жизни и своей собственной биографии. Это касается в особенности главного героя романа, Николеньки Иртеньева, в изображение которого Толстой внёс много из того, что сам пережил в годы детства, отрочества и юности.

Первые две части были впервые напечатаны в журнале Н. А. Некрасова «Современник»: в 1852 году («Детство»), в 1854 году («Отрочество»).

*Рисунки К. Клементьевой
Оформление М. Бриммер*

Толстой Л. Н.

Т53

Детство. Отрочество. Роман. Рис. К. Клементьевой. Оформл. М. Бриммер. М., «Дет. лит.», 1974.

192 с. с ил. (Школьная библиотека для нерусских школ).

В книгу включены две части известной трилогии Льва Николаевича Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность».

Т 70803—455
М101(03)74 529—74

Р1

ДЕТСТВО

Глава I

УЧИТЕЛЬ КАРЛ ИВАНЫЧ



12-го августа 18..., ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра Карл Иванович разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопúшкой — из сахарной бумаги на палке — по мухе. Он сде-

лал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Ивановича. Он же, в пестром ваточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых¹ сапогах, продолжал ходить около стен, прищелкиваться и хлопать.

«Положим, — думал я, — я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володиной постели? вон их сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше всех: оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, — прошептал я, — как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает... противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка — какие противные!»

В то время как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Ивановича, он подошел к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над нею в шитом

¹ Козловые — из мягкой козловой кожи.

бисерном башмачкѣ, повѣсил хлопѹшку на гвѹздик и, как замѣтно было, в самомъ приятномъ расположеніи дѹха поверну́лся к нам.

— Auf, Kinder, auf!.. s'ist Zeit. Die Mutter ist schon im Saal¹,— крикнул онъ добрымъ немецкимъ голосомъ, потомъ подошелъ ко мнѣ, селъ у ногъ и досталъ изъ кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карлъ Иванычъ сначала понюхалъ, утеръ носъ, щелкнулъ пальцами и тогда только принялся за меня. Онъ, пошмѣваясь, началъ шекотать мой пятки.— Nu, nun, Faulenzer!²— говорилъ онъ.

Какъ я ни боялся шекотки, я не вскочилъ с постѣли и не отвѣчалъ ему, а только глубже запряталъ голову подъ подушки, изо всехъ силъ брыкалъ ногами и употреблялъ все старанія удержаться отъ смѣха.

«Какой онъ добрый и какъ насъ любитъ, а я могъ такъ дурно о немъ думать!»

Мнѣ было досадно и на самого себя и на Карла Иваныча, хотѣлось смеяться и хотѣлось плакать: нервы были расстроены.

— Ach, lassen sie³, Карлъ Иванычъ!— закричалъ я со слезами на глазахъ, высовывая голову изъ-подъ подушекъ.

Карлъ Иванычъ удивился, оставилъ в покое мой подошвы и с беспокойствомъ сталъ спрашивать меня: о чемъ я? не видалъ ли я чего дурного во снѣ?.. Его доброе немецкое лицо, участіе, с которымъ онъ старался угадать причину моихъ слѣзъ, заставляли ихъ течь еще обильнее: мнѣ было совѣстно, и я не понималъ, какъ за минуту передъ темъ я могъ не любить Карла Иваныча и находить противнымъ и его халатъ, шапочку и кисточку; теперь, напротивъ, все это казалось мнѣ чрезвычайно милымъ, и даже кисточка казалась явнымъ доказательствомъ его доброты. Я сказалъ ему, что плачу оттого, что видалъ дурной сонъ,— будто папа⁴ умерла и ее несутъ хоронить. Все это я выдумалъ, потому что решительно не помнилъ, что мнѣ снилось в эту ночь; но когда Карлъ Иванычъ, тронутый моимъ рассказомъ, сталъ утѣшать и успокаивать меня, мнѣ казалось, что я точно видалъ этотъ страшный сонъ, и слезы полились уже от другой причины.

Когда Карлъ Иванычъ оставилъ меня и я, приподнявшись

¹ Вставать, дѣти, вставать!.. порѣ. Мама уже в залѣ (нем.)

² Ну, ну, лѣнвецъ! (нем.)

³ Ахъ, оставьте... (нем.)

⁴ Мама (франц.).

на постѣли, стал натягивать чулки на свои маленькие ноги, слёзы немного унялись, но мрачные мысли о вѣдушном сне не оставляли меня. Вошёл дядька¹ Николай — маленький, чистенький человек, всегда серьёзный, аккуратный, почтительный и большой приятель Карла Ивановича. Он нес наши платья и обувь: Володе сапоги, а мне куда ещё несносные башмаки с бантиками. При нём мне было бы совестно плакать; притом утреннее солнышко весело светило в окна, а Володя, передразнивая Марью Ивановну (гувернантку сестры), так весело и звучно смеялся, стоя над умывальником, что даже серьёзный Николай, с полотенцем на плече, с мылом в одной руке и с рукомойником в другой, улыбаясь, говорил:

— Будет вам, Владимир Петрович, извольте умыться.

Я совсем развеселился.

— Sind sie bald fertig?² — слышался из классной голос Карла Ивановича.

Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слёз. В классной Карл Иванович был совсем другой человек: он был наставник. Я живо оделся, умылся и, ещё с щёткой в руке, приглаживая мокрые волосы, явился на его зов.

Карл Иванович, с очками на носу и книгой в руке, сидел на своём обычном месте, между дверью и окошком. Направо от двери были две полочки: одна — наша, детская, другая — Карла Ивановича, *собственная*. На нашей были всех сортов книги — учебные и неучебные: одни стояли, другие лежали. Только два больших тома «Histoire des jeunes»³, в красных переплётах, чинно упирались в стену; а потом и пошли длинные, толстые, большие и маленькие книги, — корочки без книг и книги без корочек; всё туда же, бывало, нажмёшь и всунешь, когда прикажут перед рекреацией⁴ привести в порядок библиотеку, так громко называл Карл Иванович эту полочку. Коллекция книг на *собственной* если не была так велика, как на нашей, то была ещё разнообразнее. Я помню из них три:

¹ Дядька — слуга, обычно крепостной, который выполнял обязанности няньки при мальчике. В помещичьих семьях мальчики шестнадцати переходили от няньки к дядьке.

² Скоро вы будете готовы? (нем.)

³ «История путешествий» (франц.).

⁴ Рекреация — перерыв между уроками.

немецкую брошюру об унавоживании огородов под капюту — без переплёта, один том истории Семилетней войны¹ — в пергаменте, прожжённом с одного угла, и полный курс гидростатики². Карл Иванович большую часть своего времени проводил за чтением, даже испортил им своё зрение; но, кроме этих книг и «Северной пчелы»³, он ничего не читал.

В числе предметов, лежавших на полочке Карла Ивановича, был один, который больше всего мне его напоминает. Это — кружок из картона, вставленный в деревянную ножку, в которой кружок этот подвигался посредством шпильков. На кружке была наклеена картинка, представляющая карикатуры какой-то барыни и парикмахера. Карл Иванович очень хорошо клеил и кружок этот сам изобрёл и сделал для того, чтобы защищать свой слабые глаза от яркого света.

Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика, на котором стоит кружок с парикмахером, бросавшим тень на его лицо; в одной руке он держит книгу, другая покоится на ручке кресел; подле него лежат часы с нарисованным эгерем на циферблате, клетчатый платок, чёрная круглая табакерка, зелёный футляр для очков, щипцы на лоточке⁴. Всё это так чинно, аккуратно лежит на своём месте, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Ивановича совесть чиста и душа покойна.

Бывало, как досыта набегаясь внизу по залу, на цыпочках прокрадешься на верх в классную, смотришь — Карл Иванович сидит себе один на своём кресле и с спокойной-величавым выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг. Иногда я заставлял его и в такие минуты, когда он не читал: очки спускались ниже на большом орлином носу, голубые полужакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а губы грустно

¹ Семилетняя война — война 1756—1763 годов между Пруссией и Англией, с одной стороны, и Австрией и Францией, с другой, за обладание Силезией и колониями.

² Гидростатика — наука, часть гидромеханики, изучающая законы равновесия жидкостей.

³ «Северная пчела» — газета, издававшаяся в Петербурге с 1825 по 1864 год.

⁴ Щипцы на лоточке — щипцы для снятия нагара со свечей.

улыбались. В комнате тихо; только слышно его равномерное дыхание и бой часов с егерем.

Бывало, он меня не замечает, а я стою у двери и думаю: «Бедный, бедный старик! Нас много, мы играем, нам весело, а он — один-одинёшенек, и никто-то его не приласкает. Правду он говорит, что он сирота. И история его жизни какая ужасная! Я помню, как он рассказывал её Николаю, — ужасно быть в его положении!» И так жалко станет, что, бывало, подойдёшь к нему, возьмёшь за руку и скажешь: «Liebeг¹ Карл Ив́аныч!» Он любил, когда я ему говорил так; всегда приласкает, и видно, что растроган.

На друго́й стене́ висели ландка́рты², все почти́ изорванные, но искусно подклеенные руко́ю Ка́рла Ив́аныча. На тре́тьей стене́, в середине́ кото́рой была́ дверь вниз, с одной́ стороны́ висели две линейки: одна́ — изрезанная, па́ша, друго́я — но́венькая, *собственная*, употребляемая им более́ для поощре́ния, чем для линейва́ния; с друго́й — чёрная́ доска́, на кото́рой кружка́ми отмечались на́ши большие́ проступки и крестиками — ма́ленькие. На́лево от доски́ был уго́л, в кото́рый нас ста́вили на ко́лени.

Как мне па́мятен э́тот уго́л! По́мню засло́нку в печи́, отду́шник в э́той засло́нке и шум, кото́рый он производил, когда́ его пово́рачивали. Бывало́, стои́шь, стои́шь в углу́, так что ко́лени и спи́на забо́лят, и ду́маешь: «Забы́л про меня́ Ка́рл Ив́аныч: ему́, должно́ быть, поко́йно сиде́ть на мя́гком кресе́де и чита́ть свою́ гидроста́тику, — а каково́ мне?» — и начнёшь, что́бы напо́мнить о себе́, потихо́нку отворя́ть и затворя́ть засло́нку или ковыря́ть штукату́рку со стeни́; но е́сли вдруг упаде́т с шумом сли́шком большо́й кусо́к на зе́млю — пра́во, один страх ху́же вся́кого наказа́ния. Огля́нешься на Ка́рла Ив́аныча, — а он сиди́т себе́ с кни́гой в руке́ и как бу́дто ниче́го не замеча́ет.

В середине́ ко́мнаты сто́ял стол, по́крытый обо́рванной чёрной клеёной, из-под кото́рой во мно́гих места́х виднелись края́, изрезанные перочинными но́жами. Круго́м сто́ла́ было́ не́сколько некра́шенных, но от до́лгого употребле́ния залакиро́ванных табу́ретов. После́дняя стена́ была́ шпита́ тремя́ око́шками. Вот како́й был вид из них: пря́мо под о́кнами доро́га, на кото́рой ка́ждая вы́боина, ка́ж-

¹ Милый (нем.).

² Ландкарта — географическая карта.

дый камешек, каждая колея давно знакомы и милы мне; за дорогой — стриженная липовая аллея, из-за которой кое-где виднеется плетёный частокól; через аллею виден луг, с одной стороны которого гумно, а напротив лес; далеко в лесу видна избушка сторожа. Из окна направо видна часть террасы, на которой сживали обыкновенно большие до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иванович лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь чёрную головку матушки, чью-нибудь спину и смутно слышишь оттуда говор и смех; так делается досадно, что нельзя там быть, и думаешь: «Когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалoгами¹, а с теми, кого я люблю?» Досада перейдёт в грусть, и, бог знает отчего и о чём, так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иванович сердится за ошибки.

Карл Иванович снял халат, надёл синий фрак с возвышениями и сборками на плечах, оправил перед зеркалом свой галстук и повёл нас вниз — здороваться с матушкой.

Глава II

МАМАН



Матушка сидела в гостиной и разливала чай; одной рукой она придерживала чайник, другую — кран самовара, из которого вода текла через верх чайника на поднос. Но хотя она смотрела пристально, она не замечала этого, не замечала и того, что мы вошли.

Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слёзы, смутно видишь их. Это слёзы воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку такую, какою она была в это время, мне представляются только её карие

¹ Диалог — разговор между двумя или несколькими лицами. С целью изучения иностранного языка дети должны были по учебникам запоминать наизусть различные примёрные диалоги.

глазѣ, выражающіе всегда одинаковую доброту и любовь, рѳдинка на шеѣ, немного ниже того мѣста, где выѳтятся маленькіе волѳсики, шитый бѣлый воротничок, нежная сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал; но общее выражение ускользает от меня.

Налево от дивана стоял старый английский рояль; перед роялем сидела черномазенькая моя сестрица Любочка и розовенькими, только что вымытыми холодной водою пальчиками с заметным напряжением разыгрывала этюдъ Clementi. Ей было одиннадцать лет; она ходила в корѳтеньком холстинковом платьице, в бѣленьких, обшитых кружевом панталончиках и октавы могла брать только *agreggio*¹. Подле неё вполуборот сидела Мѳрья Ивановна в чепце с розовыми лентами, в голубой кацавейке и с красным сердитым лицом, которое приняло ещё более стрѳое выражение, как только вошел Карл Иванович. Она грозно посмотрѣла на него и, не отвѣчая на его поклон, продолжала, топая ногой, считать: «Un, deux, trois, un, deux, trois»²; — ещё громче и повелительнее, чем прежде.

Карл Иванович, не обращая на это ровно никакого вниманія, по своему обыкновению, с немецким привѣтствием подошел прямо к ручке матушки. Она опомнилась, трянула головкой, как будто желая этим движением отогнать грустные мысли, подала руку Карлу Ивановичу и поцеловала его в морщинистый висок, в то время как он целовал её руку.

— Ich danke, lieber³ Карл Иванович, — и, продолжая говорить по-немецки, она спросила: — Хорошо ли спали дѳти?

Карл Иванович был глух на одно ухо, а теперь от шума на роялем вовсе ничего не слышал. Он нагнулся ближе к дивану, оперся одной рукой о стол, стоя на одной ногѣ, и с улыбкой, которая тогда мне казалась верхом утонченности, приподнял шапочку над головой и сказал:

Вы меня извините, Натѳлья Николаевна?

Карл Иванович, чтобы не простудить своей голой головы, никогда не снимал красной шапочки, но всякий раз, входя в гостиную, спрашивал на это позволенія.

¹ А р и е д ж и о — здесь: сначала одну, потом вторую ноту октавы, а не сразу обе.

² Раз, два, три, раз, два, три. (Франц.).

³ Благодарю, милый (нем.).

— Наденьте, Карл Ива́ныч... Я вас спрашиваю, хорошо ли спали дѣти? — сказала татап, подвинувшись к нему и довольно громко.

Но он опять ничего не слышал, прикрыл лысину красной шапочкой и ещё милее улыбался.

— Постойте на минутку, Мимй,— сказала татап Марье Ива́новне с улыбкой,— ничего не слышно.

Когда матушка улыбалась, как ни хорошо было её лицо, оно делалось несравненно лучше, и кругом всё как будто веселело. Если бы в тяжёлые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе. Мне кажется, что в одной улыбке состоит то, что называют красотю лица: если улыбка прибавляет прелести лицу, то лицо прекрасно; если она не изменяет его, то оно обыкновенно; если она портит его, то оно дурно.

Поздоровавшись со мною, татап взяла обеими руками мою голову и откинула её назад, потом посмотрела пристально на меня и сказала:

— Ты плакал сегодня?

Я не отвечал. Она поцеловала меня в глаза и по-немецки спросила:

— О чём ты плакал?

Когда она разговаривала с нами дружески, она всегда говорила на этом языке, который знала в совершенстве.

— Это я во сне плакал, татап,— сказал я, припоминая со всеми подробностями выдуманный сон и невольно содрогаясь при этой мысли.

Карл Ива́ныч подтвердил мой слова, но умолчал о сне. Поговорив ещё о погоде,— разговор, в котором приняла участие и Мимй,— татап положила на поднос шесть кусочков сахара для некоторых почётных слуг, встала и подошла к пяльцам, которые стояли у окна.

— Ну, ступайте теперь к папа, дѣти, да скажите ему, чтобы он непременно ко мне зашёл, прежде чем пойдёт на гумно.

Музыка, считанье и грозные взгляды опять начались, а мы пошли к папа. Пройдя комнату, удержавшую ещё от времён дедушки название *официантской*¹, мы вошли в кабинет.

¹ Официантская — комната, где находились официанты, слуги, подававшие кушанье на стол, прислуживавшие во время еды.

ПАПА



Он стоял подле письменного стола и, указывая на какие-то конверты, бумаги и кучки денег, горячился и с жаром толковал что-то приказчику Якову Михайлову, который, стоя на своём обычном месте, между дверью и барометром, заложив руки за спину, очень быстро и в разных направлениях шевелил пальцами.

Чем больше горячился папа, тем быстрее двигались пальцы, и наоборот: когда папа замолкал, и пальцы останавливались; но когда Яков сам начинал говорить, пальцы приходили

ли в сильнейшее беспокойство и отчаянно прыгали в разные стороны. По их движениям, мне кажется, можно бы было угадывать тайные мысли Якова; лицо же его всегда было спокойно — выражало сознание своего достоинства и вместе с тем подвластности, то есть: я прав, а впрочем, воля ваша!

Увидев нас, папа только сказал:

— Погодите, сейчас.

И показал движением головы дверь, чтобы кто-нибудь из нас затворил её.

— Ах, боже мой милостивый! что с тобой нынче, Яков? — продолжал он к приказчику, подёргивая плечом (у него была эта привычка). — Этот конверт со вложенным восьмисот рублей...

Яков подвинул счёты, кинул восемьсот и устремил взоры на неопределённую точку, ожидая, что будет дальше.

...для расходов по экономии¹ в моём отсутствии. Понимаешь? За мельницу ты должен получить тысячу рублей... так или нет? Залогов из казны ты должен получить обратно восемь тысяч; за сено, которого, по твоёму же расчёту, можно продать семь тысяч пудов, — кладу по барок пять копеек, — ты получишь три тысячи; следова-

¹ Экономия — здесь: хозяйство, имение.

тельно, всех денег у тебя будет сколько? Двенадцать тысяч... так или нет?

— Так точно-с,— сказал Яков.

Но по быстроте движений пальцами я заметил, что он хотел возразить; папа перебил его:

— Ну, из этих-то денег ты и пошлешь десять тысяч в Совет за Петровское. Теперь деньги, которые находятся в конторе,— продолжал папа (Яков смешал прежние двенадцать тысяч и кинул двадцать одну тысячу),— ты принесешь мне и нынешним же числом покажешь в расходе. (Яков смешал счёты и перевернул их, показывая, должно быть, этим, что и деньги двадцать одна тысяча пропадут так же.) Этот же конверт с деньгами ты передашь от меня по адресу.

Я близко стоял от стола и взглянул на надпись. Было написано: «Карлу Ивановичу Мауеру».

Должно быть, заметив, что я прочёл то, чего мне знать не нужно, папа положил мне руку на плечо и лёгким движением показал направление прочь от стола. Я не понял, ласка ли это или замечание, на всякий же случай поцеловал большую жилистую руку, которая лежала на моём плече.

— Слушаю-с,— сказал Яков.— А какое приказание будет насчёт хабаровских денег?

Хабаровка была деревня тамап.

— Оставить в конторе и отнюдь никуда не употреблять без моего приказанья.

Яков помолчал несколько секунд; потом вдруг пальцы его заverteлись с усиленной быстротой, и он, переменив выражение послушного тупоумия, с которым слушал господские приказанья, на свойственное ему выражение плутоватой сметливости, подвинул к себе счёты и начал говорить:

— Позвольте вам доложить, Пётр Александрыч, что, как вам будет угодно, а в Совет к сроку заплатить нельзя. Вы изволите говорить,— продолжал он с расстановкой,— что должны получиться деньги с залогов, с мельницы и с сена... (Высчитывая эти статьи, он кинул их на кости.) Так я боюсь, как бы нам не ошибиться в расчётах,— прибавил он, помолчав немного и глубокомысленно взглянув на папа.

— Отчего?

— А вот изволите видеть: насчёт мельницы, так мель-

ник уже два раза приходил ко мне отсрочки просить и Христом-богом божился, что денег у него нет... да он и теперь здесь: так не угодно ли вам будет самим с ним поговорить?

— Что же он говорит? — спросил папа, делая головою знак, что не хочет говорить с мельником.

— Да известно что? говорит, что помолу совсем не было, что какие деньжонки были, так все в плотину посадил. Что ж, коли нам его снять, *судырь*, так опять-таки найдём ли тут расчёт? Насчёт залогов изволили говорить, так я уже, кажется, вам докладывал, что наши денюжки там сели и скоро их получить не придётся. Я наёмни посылал в город к Ивану Афанасьичу воз муки и записку об этом деле: так они опять-таки отвечают, что и рад бы стараться для Петра Александрыча, но дело не в моих руках, а что, как по всему видно, так вряд ли и через два месяца получится ваша квитанция. Насчёт сена изволили говорить — положим, что и продётся на три тысячи...

Он кинул на счёты три тысячи и с минутой молчал, поглядывая то на счёты, то в глаза папа с таким выражением: «Вы сами видите, как это мало! Да и на сене опять-таки проторгуем, коли его теперь продавать, вы сами изволите знать...»

Видно было, что у него ещё большой запас доводов; должно быть, поэтому папа перебил его.

И распоряжений своих на перемену, — сказал он, — но если в получении этих денег действительно будет задержка, то, нечего делать, возьмёшь из хабаровских, сколько нужно будет.

Слушаю-с.

По выражению лица и пальцев Якова заметно было, что последнее приказание доставило ему большое удовольствие.

Яков был крепостной, весьма усердный и преданный человек; он, как и все хорошие приказчики, был до крайности скуп за своего господина и имел о выгодах господских самые странные понятия. Он вечно заботился о приращении собственности своего господина на счёт собственности госпожи, стараясь доказывать, что необходимо употреблять все доходы с её имений на Петровское (село, в котором мы жили). В настоящую минуту он горжествовал, потому что совершенно успел в этом.

Поздорóвавшись, папá сказа́л, что бу́дет нам в дере́в-
не баклу́ши бить¹, что мы переста́ли быть ма́ленькими и
что порá нам серьёзно учи́ться.

— Вы уже зна́ете, я ду́маю, что я ны́нче в ночь еду́ в
Москву́ и беру́ вас с собо́ю,—сказа́л он.—Вы бу́дете жить
у ба́бушки, а тата́п с де́вочками остаётся здесь. И вы
это зна́йте, что одно́ для неё бу́дет утешение — слы́шать,
что вы учи́тесь хоро́шо и что ва́ми дово́льны.

Хотя́ по пригото́влениям, кото́рые за не́сколько дней
замётны́ были, мы уже́ ожида́ли чего́-то необы́кновенного,
одна́ко но́вость эта́ порази́ла нас ужа́сно. Волю́дя покрас-
не́л и дрожа́щим го́лосом пе́редал поруче́ние ма́тушки.
«Так вот что предвеща́л мне мой сон! — подумал я.—
Дай бог то́лько, что́бы не́ было чего́-нибудь ещё́ ху́же».

Мне очень, очень жа́лко ста́ло ма́тушку, и вме́сте с тем
мысль, что мы то́чно ста́ли большо́е, ра́довала меня́.
«Ежели мы ны́нче е́дем, то, ве́рно, кла́ссов не бу́дет; это́
сла́вно! — думал я.— Одна́ко жа́лко Ка́рла Ива́ныча. Его́,
ве́рно, отпу́стят, потому́ что ина́че не пригото́вили бы для
него́ конве́рта... Уж лу́чше бы век учи́ться да не уезжа́ть,
не расстава́ться с ма́тушкой и не обижа́ть бе́дного Ка́рла
Ива́ныча. Он и так очень несча́стлив!»

Мысли́ эти́ мелька́ли в моёй голове́; я не трóгался с
ме́ста и приста́льно смотре́л на че́рные ба́нтики сво́их
башмако́в. Сказа́в с Ка́рлом Ива́нычем ещё́ не́сколько
слов о пони́жении баро́метра и прика́зав Якову́ не кор-
ми́ть соба́к, с тем что́бы на проща́нье вы́ехать по́сле обе́-
да послу́шать молодых гончих, папа́, прот́ив моего́ ожи-
да́ния, посла́л нас учи́ться, утёшив, одна́ко, обеща́нием
взять на охóту.

По доро́ге на верх я забежа́л на терра́су. У дверей на
со́лнышке, зажму́рившись, лежа́ла любима́я борза́я соба́-
ка отца́ — Ми́лка.

— Ми́лочка,— говори́л я, ласка́я её и целу́я в мо́рду,—
мы ны́нче е́дем; проща́й! никогда́ большо́е не уви́димся.
Я расчу́вствовался и запла́кал.

¹ Баклу́ши бить (образное выра́жение) — безде́льничать.



Карл Ива́ныч был очень не в духе. Это было замéтно по его сдвинутым бровям и по тому, как он швырнул свой сюртук в комод, и как сердито подпоясался, и как сильно черкнул ногтем по книге диалогов, чтобы означить то место, до которого мы должны были вытвердить. Володя учился порядочно; я же так был расстроен, что решительно ничего не мог делать. Долго бессмысленно смотрел я в книгу диалогов,

но от слёз, набирающихся мне в глаза при мысли о предстоящей разлуке, не мог читать; когда же пришло время говорить их Карлу Ива́нычу, который, зажмурившись, слушал меня (это был дурной признак), именно на том месте, где один говорит: «Wo kommen sie her?»¹, а другой отвечает: «Ich komme vom Kaffe-Hause»², — я не мог более удерживать слёз и от рыданий не мог произнести: «Haben sie die Zeitung nicht gelesen?»³ Когда дошло дело до чистописания, я от слёз, падавших на бумагу, надёлал таких клякс, как будто писал водою на оберточной бумаге.

Карл Ива́ныч рассердился, поставил меня на колени, твердил, что это упрямство, кукольная комедия (это было любимое его слово), угрожал линейкой и требовал, чтобы я просил прощенья, тогда как я от слёз не мог слова вымолвить; наконец, должно быть, чувствуя свою несправедливость, он ушёл в комнату Николая и хлопнул дверью.

Из классной слышен был разговор в комнате дядьки.

— Ты слышал, Николай, что дети едут в Москву? — спросил Карл Ива́ныч, входя в комнату.

— Как же-с, слышал.

Должно быть, Николай хотел встать, потому что Карл Ива́ныч сказал: «Сиди, Николай!» — и вслед за этим за-

¹ «Откуда вы идёте?» (нем.)

² «Я иду из кофейни» (нем.)

³ «Вы не читали газету?» (нем.)

творил дверь. Я вышел из угла и подошёл к двери подслушивать.

— Сколько ни делай добра людям, как ни будь привязан, видно, благодарности нельзя ожидать, Николай? — говорил Карл Иванович с чувством.

Николай, сидя у окна за сапожной работой, утвердительно кивнул головой.

— Я двенадцать лет живу в этом доме и могу сказать перед богом, Николай, — продолжал Карл Иванович, поднимая глаза и табакёрку к потолку, — что я их любил и занимался ими больше, чем ежели бы это были мой собственные дети. Ты помнишь, Николай, когда у Володеньки была горячка, помнишь, как я девять дней, не смыкая глаз, сидел у его постели. Да! тогда я был добрый, милый Карл Иванович, тогда я был нужен; а теперь, — прибавил он, иронически улыбаясь, — теперь *дети большие стали: им надо серьёзно учиться*. Точно они здесь не учатся, Николай?

— Как же ещё учиться, кажется, — сказал Николай, положив шило и протягивая обеими руками дротвы.

— Да, теперь я не нужен стал, меня и надо прогнать; а где обещания? где благодарность? Наталью Николаевну я уважаю и люблю, Николай, — сказал он, прикладывая руку к груди: — да что она?.. её воля в этом доме всё равно, что вот это, — при этом он с выразительным жестом кинул на пол обрзок кожи. — Я знаю, чьи это штуки и отчего я стал не нужен: оттого, что я не лыщу и не потакаю во всём, как *иные люди*. Я привык всегда и перед всеми говорить правду, — сказал он гордо. — Бог с ними! Оттого, что меня не будет, они не разбогатеют, а я, бог милостив, найду себе кусок хлеба... не так ли, Николай?

Николай поднял голову и посмотрел на Карла Ивановича так, как будто желая удостовериться, действительно ли может он найти кусок хлеба, — но ничего не сказал.

Много и долго говорил в этом духе Карл Иванович: говорил о том, как лучше умели ценить его заслуги у какого-то генерала, где он прежде жил (мне очень больно было это слышать), говорил о Саксонии, о своих родителях, о друге своём портном Schönheit и т. д., и т. д.

Я сочувствовал его горю, и мне больно было, что отец и Карл Иванович, которых я почти одинаково любил, не поняли друг друга; я опять отправился в угол, сел на

пятьки и рассуждал о том, как бы восстановить между ними согласие.

Вернувшись в классную, Карл Иванович велел мне встать и приготовить тетрадь для писания под диктовку. Когда всё было готово, он величественно опустился в своё кресло и голосом, который, казалось, выходил из какой-то глубины, начал диктовать следующее: «Von al-len Lei-den-schaf-ten die grausamste ist... haben sie geschrieben?»¹ Здесь он остановился, медленно понюхал табак и продолжал с новой силой: «Die grausamste ist die Un-dank-barkeit... Ein grosses U»². В ожидании продолжения, написав последнее слово, я посмотрел на него.

— Punctum³, — сказал он с едва заметной улыбкой и сделал знак, чтобы мы подали ему тетради.

Несколько раз, с различными интонациями и с выражением величайшего удовольствия, прочёл он это изречение, выражавшее его задушевную мысль; потом задал нам урок из истории и сел у окна. Лицо его не было угрюмо, как прежде; оно выражало довольство человека, достойно отомстившего за нанесённую ему обиду.

Было без четверти час; но Карл Иванович, казалось, и не думал о том, чтобы отпустить нас: он то и дело задавал новые уроки. Скуча и аппетит увеличивались в одинаковой мере. Я с сильным нетерпением следил за всеми признаками, доказывавшими близость обеда. Вот дворюбая женщина с мочалкой идёт мыть тарелки, вот слышно, как шумят посудой в буфете, раздвигают стол и ставят стулья, вот и Мими с Любочкой и Катенькой (Катенька — двенадцатилетняя дочь Мими) идут из сада; но не видать Фёки — дворецкого⁴ Фёки, который всегда приходит и объявляет, что кушать готово. Тогда только можно будет бросить книги и, не обращая внимания на Карла Ивановича, бежать вниз.

Вот слышны шаги по лестнице; но это не Фёка! Я изучил его походку и всегда узнаю скрип его сапогов. Дверь отворилась, и в ней показалась фигура, мне совершенно незнакомая.

¹ «Из всех пороков самый ужасный... написали?» (нем.)

² «Самый ужасный — это неблагодарность... с прописной буквой» (нем.).

³ Точка (лат.).

⁴ Дворецкий — слуга, ведавший домашним хозяйством и распоряжавшийся всеми остальными слугами (дворней).

014003

394

ЮРОДИВЫЙ¹

В комнату вошёл человек лет пятидесяти, с бледным, изрытым оспою, продолговатым лицом, длинными седыми волосами и редкой рыжеватой бородкой. Он был такого большого роста, что для того, чтобы пройти в дверь, ему не только нужно было нагнуть голову, но и согнуться всем телом. На нём было надето что-то изорванное, похожее на кафтан и на подрясник; в руке он держал огромный посох. Войдя в комнату, он из всех сил стукнул им по полу и, скривив брови и чрезмерно

раскрыв рот, захотел самым страшным и неестественным образом. Он был крив на один глаз, и белый зрачок этого глаза прыгал беспрестанно и придавал его и без того некрасивому лицу ещё более отвратительное выражение.

— Ага! попались! — закричал он, маленькими шажками подбегая к Володе, схватил его за голову и начал тщательно рассматривать его макушку, — потом с совершенно серьёзным выражением отошёл от него, подошёл к столу и начал дуть под клеёнку и крестить её. — О-ох жалко! О-ох больно!.. сердечные... улетят, — заговорил он потом дрожащим от слёз голосом, с чувством всматриваясь в Володю, и стал утирать рукавом действительно падавшие слёзы.

¹ Юродивый — так называли в старину человека с нездоровым рассудком, обладавшего, по мнению верующих, даром пророчания, совершавшего странные поступки, произносившего непонятные, бессмысленные фразы. Юродивые («дурачки», «божья люди») своими странностями наводили страх на многих людей. Их старались расположить к себе, угощали, давали деньги, так как считали, что они могут вызвать несчастье или, наоборот, принести счастье. Бывали случаи, когда здоровые люди, чтобы избавиться от необходимости работать или по другим причинам, прикидывались юродивыми. Они обычно выдавали себя за людей «святой» жизни, много молились, ходили в рваной одежде и босые иногда даже зимой, носили на голем теле тяжёлые железные цепи — вериги.

Голос его был груб и хрипл, движения торопливы и неровны, речь бессмысленна и несвязна (он никогда не употреблял местоимений), но ударения так трогательны и желтое уродливое лицо его принимало иногда такое откровенно печальное выражение, что, слушая его, нельзя было удержаться от какого-то смешанного чувства сожаления, страха и грусти.

Это был юродивый и странник Гриша.

Откуда был он? кто были его родители? что побудило его избрать странническую жизнь, какую он вёл? Никто не знал этого. Знаю только то, что он с пятнадцатого года стал известен как юродивый, который зиму и лето ходит босиком, посещает монастыри, дарит образочки тем, кого полюбит, и говорит загадочные слова, которые некоторыми принимаются за предсказания, что никто никогда не знал его в другом виде, что он изредка хаживал к бабушке и что одни говорили, будто он несчастный сын богатых родителей и чистая душа, а другие, что он просто мужик и лештй.

Наконец явился давно желанный и пунктуальный Фёка, и мы пошли вниз. Гриша, всхлипывая и продолжая говорить разную нелепицу, шёл за нами и стучал костылём по ступенькам лестницы. Папа и мама ходили рука об руку по гостиной и о чём-то тихо разговаривали. Мária Ивановна чинно сидела на одном из кресел, симметрично, под прямым углом, примыкавшем к дивану, и строгим, но сдержанным голосом давала наставления сидевшим подле неё девочкам. Как только Карл Иванович вошёл в комнату, она взглянула на него, тотчас же отвернулась, и лицо её приняло выражение, которое можно передать так: я вас не замечаю, Карл Иванович. По глазам девочек заметно было, что они очень хотели поскорее передать нам какое-то очень важное известие; но вскочить с своих мест и подойти к нам было бы нарушением правил Мимй. Мы сначала должны были подойти к ней, сказать: «Bonjour, Mimi»¹, шаркнуть ногами, а потом уже по волялось вступать в разговоры.

Что за несносная особа была эта Мимй! При ней, бы-вильно, ни о чём нельзя было говорить: она всё находила неприличным. Сверх того, она беспрестанно приставала: «Parlez donc francais»², а тут-то, как назло, так и хочет-

¹ «Добрый день, Мимй» (франц.).

² «Говорите же по-французски» (франц.).

ся болтать по-русски; или за обедом — только что войдёшь во вкус какого-нибудь кушанья и желаешь, чтобы никто не мешал, уж она непременно: «Mangez donc avec du pain» или «Comment ce que vous tenez votre fourchette?»¹ «И как же ей до нас дело! — подумает. — Пускай она учит своих девочек, а у нас есть на это Карл Иваныч». Я вполне разделял его ненависть к *иным людям*.

— Попроси мамашу, чтобы нас взяли на охоту, — сказала Катенька шёпотом, останавливая меня за курточку, когда большие прошли вперёд в столовую.

— Хорошо, постараемся.

Гриша обедал в столовой, но за особенным столиком; он не поднимал глаз с своей тарелки, изредка вздыхал, делал страшные гримасы и говорил, как будто сам с собою: «Жалко!.. улетела... улетит голубь в небо... ох, на могиле камень!..» и т. п.

Матап с утра была расстроена; присутствие, слова и поступки Гриши заметно усиливали в ней это расположение.

— Ах да, я было и забыла попросить тебя об одной вещи, — сказала она, подавая отцу тарелку с супом.

— Что такое?

— Вели, пожалуйста, запирайте своих страшных собак, а то они чуть не закусали бедного Гришу, когда он проходил по двору. Они этак и на детей могут броситься.

Услыхав, что речь идёт о нём, Гриша повернулся к столу, стал показывать изорванные полы своей одежды и, пережёвывая, приговаривать:

— Хотел, чтобы загрызли... Бог не попустил. Грех собаками травить! большой грех! Не бей, *большак*², что бить? Бог простит... дни не такие.

— Что это он говорит? — спросил папа, пристально и строго рассматривая его. — Я ничего не понимаю.

— А я понимаю, — отвечала матап, — он мне рассказывал, что какой-то охотник нарочно на него пускал собак, так он и говорит: «Хотел, чтобы загрызли, но бог не попустил», — и просит тебя, чтобы ты за это не наказывал его.

¹ «Ешьте же с хлебом», «Как вы держите вилку?» (франц.)

² Так он безразлично называл всех мужчин. (Прим. Л. Н. Толстого.)

— А! вот что! — сказа́л папа́.— Почём же он знаёт, что я хочу наказывать этого охотника? Ты знаешь, я вообще не большой охотник до этих господ,— продолжал он по-французски,— но этот особенно мне не нравится и должен быть...

— Ах, не говори этого, мой друг,— прервала его мама, как будто испугавшись чего-нибудь,— почём ты знаешь?

— Кажется, я имел случай изучить эту породу людей — их столько к тебе ходит,— все на один покрой. Вечно одна и та же история...

Видно было, что матушка на этот счёт была совершенно другого мнения и не хотела спорить.

— Передай мне, пожалуйста, пирожок,— сказала она.— Что, хороший ли они нынче?

— Нет, меня сердит,— продолжал папа, взяв в руку пирожок, но держа его на таком расстоянии, чтобы мама не могла достать его,— нет, меня сердит, когда я вижу, что люди умные и образованные впадают в обман.

И он ударил вилкой по столу.

— Я тебя просила передать мне пирожок,— повторила она, протягивая руку.

— И прекрасно делают,— продолжал папа, отодвигая руку,— что таких людей сажают в полицию. Они приносят только ту пользу, что расстраивают и без того слабые нервы некоторых osób,— прибавил он с улыбкой, заметив, что этот разговор очень не нравился матушке, и подавал ей пирожок.

— Я на это тебе только одно скажу: трудно поверить, чтобы человек, который, несмотря на свой шестьдесят лет, зиму и лето ходит босой и, не снимая, носит под платьем верёги в два пуда весом и который не раз отказывался от предложений жить спокойно и на всём готовом,— трудно поверить, чтобы такой человек всё это делал только из лени. Насчёт предсказаний,— прибавила она со вздохом и помолчав немного,— je suis payée pour y croire¹; я тебе рассказывала, кажется, как Кирюша, день в день, час в час предсказал покойнику папеньке его кончину.

— Ах, что ты со мной сделала! — сказа́л папа́, улыбаясь и приставив руку ко рту с той стороны, с которой

¹ Я верю в них недаром (франц.).

сидела Мимй. (Когда он это делал, я всегда слушал с напряжённым вниманием, ожидая чего-нибудь смешного.) — Зачем ты мне напомнила об его ногах? Я посмотрел и теперь ничего есть не буду.

Обед клонился к концу. Любочка и Катенька беспрестанно подмигивали нам, вертели на своих стульях и вообще изъясляли сильное беспокойство. Подмигивание это значило: «Что же вы не просите, чтобы нас взяли на охоту?» Я толкнул локтем Володю, Володя толкнул меня и наконец решился: сначала робким голосом, потом, довольно твёрдо и громко, он объяснил, что так как мы нынче должны ехать, то желали бы, чтобы девочки вместе с нами поехали на охоту, в линейке. После небольшого совещания между большими вопрос этот решён был в нашу пользу, и — что было ещё приятнее — татап сказала, что она сама поедет с нами.

Глава VI

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ОХОТЕ



Во время пирожного был позван Яков и отданы приказания насчёт линейки, собак и верховых лошадей — всё с величайшею подробностью, называя каждую лошадь по имени. Володина лошадь хромала; папа велел оседлать для него охотничью. Это слово: «охотничья лошадь» — как-то странно звучало в ушах татап; ей казалось, что охотничья лошадь должна быть что-то вроде бешеного зверя и что она непременно понесёт и убьёт Володю. Несмотря на увещания папа и Володи, который с удивительным молодечеством говорил, что это ничё и что он очень любит, когда лошадь несёт, бедняжка татап продолжала твердить, что она всё гулянье будет мучиться.

Обед кончился; большие пошли в кабинет пить кофе, а мы побежали в сад шаркать ногами по дорожкам, покрытым упавшими жёлтыми листьями, и разговаривать. Начались разговоры о том, что Володя поедет на «охотничьей лошади», о том, как стыдно, что Любочка тише бе-

гает, чем Катенька, о том, что интересно было бы посмотреть верёги Гриши, и т. д.; о том же, что мы расстаёмся, ни слова не было сказано. Разговор наш был прерван стуком подъезжавшей линейки, на которой у каждой рессоры сидели по дворовому мальчику. За линейкой ехали охотники с собаками, за охотниками — кучер Игнат на назначенной Володе лошади и вёл в поводу моего старинного клёпера¹. Сначала мы все бросились к забору, от которого видны были все эти интересные вещи, а потом с визгом и топотом побежали наверх одеваться, и одеваться так, чтобы как можно более походить на охотников. Одно из главных к тому средств было всучивание панталон в сапоги. Нимало не медля, мы принялись за это дело, торопясь скорее кончить его и бежать на крыльцо наслаждаться видом собак, лошадей и разговором с охотниками.

День был жаркий. Белые, причудливых форм тучки с утра показались на горизонте; потом всё ближе и ближе стал сгонять их маленький ветерок, так что изредка они закрывали солнце. Сколько ни ходили и ни чернили тучи, видно, не суждено им было собраться в грозу и в последний раз помешать нашему удовольствию. К вечеру они опять стали расходиться: одни побледнели, подлиннели и бежали на горизонт; другие, над самой головой, превратились в белую прозрачную чешую; одна только чёрная большая туча остановилась на востоке. Карл Иванович всегда знал, куда какая туча пойдёт; он объявил, что эта туча пойдёт к Маслолке, что дождя не будет и погода будет превосходная.

Фёка, несмотря на свой преклонные лета, сбежал с лестницы очень ловко и скоро, крикнул: «Попадай!» — и, раздвинув ноги, твёрдо стал посредине подъезда, между тем местом, куда должен был подкатить линейку кучер, и порогом, в позиции человека, которому не нужно напоминать о его обязанности. Барыни сошли и после небольшого прения о том, кому на какой стороне сидеть и за кого держаться (хотя, мне кажется, совсем не нужно было держаться), уселись, раскрыли зонтики и поехали. Когда линейка тронулась, татап, указывая на охотничью лошадь», спросила дрожащим голосом у кучера:

Эта для Владимира Петровича лошадь?

¹ Клёпер — порода лошади.

И когда кучер отвечал утвердительно, она махнула рукой и отвернулась. Я был в сильном нетерпении: взлез на свою лошадку, смотрел ей между ушей и делал по двору разные эволюции¹.

— Собак не извольте раздавить, — сказал мне какой-то охотник.

— Будь покоен: мне не в первый раз, — отвечал я гордо.

Володя сел на «охотничью лошадь», несмотря на твердость своего характера, не без некоторого содрогания и, оглаживая её, несколько раз спросил:

— Смирна ли она?

На лошади же он был очень хорош — точно большой. Обтянутые ляжки его лежали на седле так хорошо, что мне было завидно, — особенно потому, что, сколько я мог судить по тени, я далеко не имел такого прекрасного вида.

Вот слышались шаги папы на лестнице; выжлятник² подогнал отрывавших гончих; охотники с борзыми подзвали своих и стали садиться. Стремянный³ подвёл лошадь к крыльцу; собаки своры папы, которые прежде лежали в разных живописных позах около неё, бросились к нему. Вслед за ним, в бисерном ошейнике, побрякивая железкой, весело выбежала Милка. Она, выходя, всегда здоровалась с псарными собаками: с одними поиграет; с другими понюхается и порычит, а у некоторых пощечет блох.

Папа сел на лошадь, и мы поехали.

¹ Эволюции — здесь: движения.

² Выжлятник — старший псарь, распоряжавшийся гончими собаками.

³ Стремянный — конюх, ухаживающий за верховой лошадью своего господина; в псовой охоте обычно ведал сворой барских охотничьих собак.

ОХОТА



Доезжачий¹, прозывавшийся Тёрка, на голубой горбоносой лошади, в мохнатой шапке, с огромным рогом за плечами и ножом на поясе, ехал вперёд всех. По мрачной и свирёпой наружности этого человека скорее можно было подумать, что он едет на смертный бой, чем на охоту. Около задних ног его лошади пёстрым, волнующимся клубком бежали сомкнутые гончие. Жалко было видеть, какая участь постигала ту не-

счастную, которой вздумывалось отстать. Ей надо было с большими усилиями перетянуть свою подругу, и когда она достигала этого, один из выжлятников, ехавших сзади, непременно хлопал по ней арапником², приговаривая: «В кучу!» Выехав за ворота, папа велел охотникам и нам ехать по дороге, а сам повернул в ржаное поле.

Хлебная уборка была во всём разгаре. Необозримое блестяще-жёлтое поле замыкалось только с одной стороны высоким синющим лесом, который тогда казался мне самым отдалённым, таинственным местом, за которым или кончается свет, или начинаются необитаемые страны. Всё поле было покрыто копнами и народом. В высокой густой ржи виднелись кой-где на выжатой полосе согнутая спиной жницы, взмах колосьев, когда она перекладывала их между пальцев, женщина в тени, нагнувшаяся над люлькой, и разбросанные снопы по усёянному вашикам живью. В другой стороне мужики в одних рубашках, стоя на телегах, накладывали копны и пылили по ветру, раскалённому полю. Староста, в сапогах и армянской шакивке, с бирками³ в руке, издали заметив папу, снял свою поярковую шляпу, утирал рожую голову и

¹ Доезжачий — слуга, ведавший барской псарней, главный псарь.

² Арапник — охотничий кнут для собак.

³ Бирка — деревянная дощечка, гладко оструганная палка, на которой неграмотные люди зарубками и нарезками обозначали счёт предметов или меру.

бóроду полотёнцем и покрѣкивал на баб. Рыженькая лоша́дка, на кото́рой е́хал папа́, шла лёгкой, игривой ходо́й, изредка опуска́я го́лову к груди́, вытягивая поводо́ья и сма́йвая густы́м хвостом о́водов и мух, кото́рые жа́дно лепи́лись на неё. Две борзы́е соба́ки, напряжённо загну́в хвост серпо́м и высоко́ поднимая но́ги, грациóзно перепры́гивали по высо́кому жнивью́, за нога́ми лошади́; Милка бежа́ла впереди́ и, загну́в го́лову, ожида́ла прикóрмки. Говор наро́да, то́пот лошаде́й и теле́г, весёлый свист перепелóв, жужжа́ние насеко́мых, кото́рые неподви́жными ста́ями ви́лись в во́здухе, за́пах по́лыни, соло́мы и лошади́ного по́та, ты́сячи разли́чных цвето́в и тенёй, кото́рые разли́вало паля́щее со́лнце по све́тло-же́лтому жнивью́, синей да́ли ле́са и бе́ло-лило́вым обла́кам, бе́лые паути́ны, кото́рые носи́лись в во́здухе и́ли ложи́лись по жнивью́, — всё э́то я ви́дел, слы́шал и чу́ствовал.

Подъ́ехав к Қали́новому ле́су, мы нашли́ линейку́ уже́ там и, сверх вся́кого ожида́ния, ещё́ теле́гу в одну́ лоша́дь, на середьне́ кото́рой сиде́л буфетчи́к. Из-под се́на видне́лись: самова́р, ка́дка с моро́женой фо́рмой и ещё́ кой-ка́кие привле́кательные узелки́ и корбóчки. Нельзя́ было́ ошиби́ться: э́то был чай на чи́стом во́здухе, моро́женое и фру́кты. При ви́де теле́ги мы изья́вили шу́мную ра́дость, потому́ что пить чай в ле́су на траве́ и воо́бще́ на тако́м ме́сте, на кото́ром никто́ и никогда́ не пива́л ча́ю, счита́лось большо́м наслажде́нием.

Ту́рка поды́ехал к о́строву¹, остано́вился, внима́тельно вы́слушал от папа́ подро́бное наста́вление, как равня́ться и куда́ выходи́ть (впро́чем, он никогда́ не сообража́лся с э́тим наста́влением, а де́лал по-сво́ему), разо́мкну́л соба́к, не спеша́ второ́чил смы́чки², сел на лоша́дь и, по-сви́стывая, скры́лся за молоды́ми берёзками. Разо́мкнутые го́нчие пре́жде всего́ маха́ниями хвосто́в вырази́ли своё удово́льствие, встряхну́лись, опра́вились и пото́м уже́ ма́ленькой рысцо́й, прино́хиваясь и маха́я хвоста́ми, побежа́ли в разны́е сто́роны.

— Есть у тебя́ плато́к? — спроси́л папа́.

Я вы́нул из карма́на и показа́л ему́.

¹ О́стров — здесь: лесистое и́ли боло́тистое ме́сто, окру́женное поля́ми и удо́бное для охóты с соба́ками.

² Вто́рочить смы́чки — то есть отвяза́ть от оше́йников соба́к верёвки (смы́чки), кото́рыми попа́рно приви́заны го́нчие соба́ки, и приви́зать (второчить) смы́чки к седлу́.

— Ну, так возьми на платок эту серую собаку...

— Жирана? — сказал я с видом знатока.

— Да, и беги по дороге. Когда придёт полянка, остановись и смотри: ко мне без зайца не приходите!

Я обмотал платком мохнатую шею Жирана и опрометью бросился бежать к назначенному месту. Папа смеялся и кричал мне вслед:

— Скорей, скорей, а то опоздаешь.

Жиран беспрестанно останавливался, поднимая уши, и прислушивался к порсканию охотников. У меня неоставало сил стащить его с места, и я начинал кричать: «Атү! атү!» Тогда Жиран рвался так сильно, что я насилу мог удерживать его и не раз упал, покуда добрался до места. Избрав у корня высокого дуба тенистое и ровное место, я лёг на траву, усадил подле себя Жирана и начал ожидать. Воображение моё, как всегда бывает в подобных случаях, ушло далеко вперёд действительности: я воображал себе, что травлю уже третьего зайца, в то время как отозвалась в лесу первая гончая. Голос Турки громче и одушевлённое раздался по лесу; гончая взвизгивала, и голос её слышался чаще и чаще; к нему присоединился другой, басистый голос, потом третий, четвёртый... Голоса эти то замолкали, то перебивали друг друга. Звуки постепенно становились сильнее и непрерывнее и, наконец, слились в один звонкий, залиvistый гул. *Остров был голосистый, и гончие варили варом*¹.

Услышав это, я замер на своём месте. Вперив глаза в опушку, я бессмысленно улыбался; пот катился с меня градом, и хотя капли его, сбегая по подбородку, щекотали меня, я не вытирал их. Мне казалось, что не может быть решительнее этой минуты. Положение этой напряжённости было слишком неестественно, чтобы продолжаться долго. Гончие то заливались около самой опушки, то постепенно отдалялись от меня; зайца не было. Я стал смотреть по сторонам. С Жираном было то же самое: сначала он рвался и взвизгивал, потом лёг подле меня, положил морду мне на колени и успокоился.

Около оголившихся корней того дуба, под которым сидел, по серой, сухой земле, между сухими дубовыми ветвями, желудьми, пересохшими, обомшальными хворостинками, жёлто-зелёным мхом и изредка пробивавшимися

¹ Гончие варили варом — преследовали зверя с неумолчным, залиvistым лаем.

ся тонкими зелёными травками кишмя кишели муравьи. Они один за другим торопились по пробитым ими торным дорожкам: некоторые с тяжестями, другие порожняком. Я взял в руки хворостину и загородил ею дорогу. Надо было видеть, как одни, презирая опасность, подлезали под неё, другие перелезали через; а некоторые, особенно те, которые были с тяжестями, совершенно терялись и не знали, что делать: останавливались, искали обхода, или ворочались назад, или по хворостинке добирались до моей руки и, кажется, намеревались забраться под рукав моей курточки. От этих интересных наблюдений я был отвлечён бабочкой с жёлтыми крылышками, которая чрезвычайно заманчиво вилась передо мною. Как только я обратил на неё внимание, она отлетела от меня шага на два, повилась над почти увядшим белым цветком дикого клевера и села на него. Не знаю, солнышко ли её пригрело, или она брала сок из этой травки,— только видно было, что ей очень хорошо. Она изредка взмахивала крылышками и прижималась к цветку, наконец совсем замерла. Я положил голову на обе руки и с удовольствием смотрел на неё.

Вдруг Жирэн завыл и рванулся с такой силой, что я чуть было не упал. Я оглянулся. На опушке леса, приложив одно ухо и приподняв другое, перепрыгивал заяц. Кровь ударила мне в голову, и я всё забыл в эту минуту: закричал что-то неистовым голосом, пустил собаку и бросился бежать. Но не успел я этого сделать, как уже стал раскаиваться: заяц присел, сделал прыжок, и больше я его не видал.

Но каков был мой стыд, когда вслед за гончими, которые в голос вывели на опушку, из-за кустов показался Турка! Он видел мою ошибку (которая состояла в том, что я не *выдержал*) и, презрительно взглянув на меня, сказал только: «Эх, барин!» Но надо знать, как это было сказано! Мне было бы легче, ежели бы он меня, как зайца, повесил на седло.

Долго стоял я в сильном отчаянии на том же месте, не звал собаки и только твердил, ударяя себя по ляжкам: — Бóже мой, что я наделал!

Я слышал, как гончие погна́ли дальше, как заатукали на другой стороне острова, отбили зайца и как Турка в свой огромный рог вызывал собак,— но всё не трогался с места...

ИГРЫ



Охота кончилась. В тени молодых берёзок был разостлан ковер, и на ковре кружком сидело всё общество. Буфетчик Гаврило, примяв около себя зелёную, сочную траву, перетирал тарелки и доставал из корбочки завернутые в листья сливы и персики. Сквозь зелёные ветви молодых берёз просвечивало солнце и бросало на узоры ковра, на мои ноги и даже на плешивую вспотевшую голову Гаврилы круглые колеблющиеся просветы. Лёгкий ветерок, пробегающий по листьям деревьев, по моим волосам и вспотевшему лицу, чрезвычайно освещал меня.

Когда нас оделили мороженым и фруктами, делать на ковре было нечего, и мы, несмотря на косые, палящие лучи солнца, встали и отправились играть.

— Ну, во что? — спросила Любочка, щурясь от солнца и припрыгивая по траве. — Давайте в Робинзона.

— Нет... скучно, — сказал Володя, лениво повалившись на траву и пережевывая листья, — вечно Робинзон! Если непременно хотите, так давайте лучше беседочку строить.

Володя заметно важничал: должно быть, он гордился тем, что приехал на охотничьей лошади, и притворялся, что очень устал. Может быть, и то, что у него уже было слишком много здравого смысла и слишком мало силы воображения, чтобы вполне наслаждаться игрою в Робинзона. Игра эта состояла в представлении сцен из «Robinson Suisse»¹, которого мы читали незадолго пред тем.

Ну, пожалуйста... отчего ты не хочешь сделать нам этого удовольствия? — приставали к нему девочки. — Ты

¹ «Швейцарского Робинзона» (франц.). — «Швейцарский Робинзон Висса был слабым подражанием известному роману Д. Дефо «Робинзон Крузо».

будешь Charles ¹, или Ernest ², или отец — как хочешь? — говорила Катенька, стараясь за рукав курточки приподнять его с земли.

— Право, не хочется — скучно! — сказал Волodia, потягиваясь и вместе с тем самодовольно улыбаясь.

— Так лучше бы дома сидеть, коли никто не хочет играть, — сквозь слезы выговорила Любочка.

Она была страшная плакса.

— Ну, пойдёте; только не плачь, пожалуйста: терпеть не могу!

Снисхождение Володи доставило нам очень мало удовольствия; напротив, его ленивый и скучный вид разрушил всё очарование игры. Когда мы сели на землю и, воображая, что плывём на рыбную ловлю, изо всех сил начали грести, Володя сидел сложив руки и в позе, не имеющей ничего похожего с позой рыбака. Я заметил ему это; но он отвечал, что оттого, что мы будем больше или меньше махать руками, мы ничего не выиграем и не проиграем и всё же далеко не уедем. Я немного согласился с ним. Когда, воображая, что я иду на охоту, с палкой на плече, я отправился в лес, Володя лёг на спину, закинул руки под голову и сказал мне, что будто бы и он ходил. Такие поступки и слова, охлаждая нас к игре, были крайне неприятны, тем более, что нельзя было в душе согласиться, что Володя поступает благоумно.

Я сам знаю, что из палки не только что убить птицу, да и выстрелить никак нельзя. Это игра. Коли так рассуждать, то и на стульях ездить нельзя; а Володя, я думаю, сам помнит, как в долгие зимние вечера мы накрывали кресло платками, делали из него коляску, один садился кучером, другой лакеем, девочки в середину, три стула были тройка лошадей, — и мы отправлялись в дорогу. И какие разные приключения случались в этой дороге! и как весело и скоро проходили зимние вечера!.. Если судить по-настоящему, то игры никакой не будет. А игры не будет, что ж тогда остаётся?..

¹ Карл (франц.).

² Эрнест (франц.).

ЧТО-ТО ВРОДЕ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ



Представляя, что она рвёт с дёрева какие-то американские фрукты, Любочка сорвала на одном листке огромной величины червяка, с ужасом бросила его на землю, подняла руки кверху и отскочила, как будто бо-

ясь, чтобы из него не брызнуло чего-нибудь. Игра прекратилась; мы все, головами вместе, припали к земле — смотреть эту редкость.

Я смотрел через плечо Катеньки, которая старалась поднять червяка на листочке, подставляя ему его на дороге.

Я заметил, что многие девочки имеют привычку подёргивать плечами, стараясь этим движением привести спущившееся платье с открытой шеей на настоящее место. Ещё помню, что Мими всегда сердилась за это движение и говорила: «C'est un geste de femme de chambre¹. Нагнувшись над червяком, Катенька сделала это самое движение, и в то же время ветер поднял косыночку с её беленькой шейки. Плечико во время этого движения было на два пальца от моих губ. Я смотрел уже не на червяка, смотрел-смотрел и изо всех сил поцеловал плечо Катеньки. Она не обернулась, но я заметил, что шейка её и уши покраснели. Володя, не поднимая головы, презрительно сказал:

Что за нежности?

У меня же были слёзы на глазах.

Я не спускал глаз с Катеньки. Я давно уже привык к свеженькому белокуренькому личику и всегда любил его, но теперь я внимательнее стал всматриваться в него и полюбил ещё больше. Когда мы подошли к большому паню, к великой нашей радости, объявил, что, по просьбе матушки, поездка отложена до завтрашнего дня.

Мы поехали назад вместе с линейкой. Володя и я, же-

¹ Это жест горничной (франц.).

лѣя превзойти один друго́го иску́ством ѣздить верхом и молодёчеством, гарцевали около неё. Тень моя была длиннее, чем прежде, и, судя по ней, я предполагал, что имѣю вид довольно красивого всадника; но чувство самодовольства, которое я испытывал, было скоро разрушено слѣдующим обстоятельством. Желая окончательно прельстить всех сидѣвших в линѣйке, я отстал немного, потом, с помощью хлыста и ног, разогнал свою лоша́дку, приня́л непринуждённо-граціозное положѣние и хотѣл вихрем пронестись мимо их, с той стороны, с которой сидѣла Катенька. Я не знал только, что лучше: молча ли проскакать или крикнуть? Но несносная лоша́дка, поравнявшись с упряжными, несмотря на все мои усилія, остановилась так неожиданно, что я перескочил с седла на шею и чуть-чуть не полетѣл.

Глава X

ЧТО ЗА ЧЕЛОВЕК БЫЛ МОЙ ОТЕЦ?



Он был человек прошлаго века и имѣл общій молодёжи того́ века неуловимый характер рыцарства, предприимчивости, самоуверенности, любезности и разгула. На людей нынѣшняго века он смотрѣл презрительно, и взгляд этот происходил столько же от врождённой гордости, сколько от тайной досады за то, что в наш век он не мог имѣть ни того́ влияния, ни тех успехов, которые имѣл в свой. Две главныя страсти его́ в жизни были карты и женщины; он выиграл в продолженіе своей жизни несколько миллио́нов и имѣл связи с бесчисленным числом женщин всех сословій.

Большой стáтный рост, странная, маленькими шажками, походка, привычка подѣргивать плечом, маленькіе, всегда улыбающіеся глаза́, большой орлиный нос, неправильныя губы, которые как-то неловко, но приятно складывались, недостаток в произношеніи — пришептываніе, и больша́я, во всю голову, лысина: вот наружность моего́ отца, с тех пор как я его́ запомню, — наружность, с которою он умѣл не только прослыть и быть человеком



Матушка сидела в гостиной и разливала чай.



*Всегда Натáлья Сáвишна рылась в сундуках, которыми была
наполнена её комната.*

à bonnes fortunes¹, но нравиться всем без исключения — людям всех сословий и состояний, в особенности же тем, которым хотёл нравиться.

Он умёл взять верх в отношениях со всяким. Не быв никогда человеком *очень большого света*², он всегда вошёл с людьми этого круга, и так, что был уважаем. Он знал ту крайнюю меру гордости и самонадеянности, которая, не оскорбляя других, возвышала его в мнении света. Он был оригинален, но не всегда, а употреблял оригинальность как средство, заменяющее в иных случаях светскость или богатство. Ничто на свете не могло возбудить в нём чувства удивления: в каком бы он ни был блестящем положении, казалось, он для него был рождён. Он так хорошо умёл скрывать от других и удалять от себя известную всем тёмную, наполненную мелкими досадами и огорчениями сторону жизни, что нельзя было не завидовать ему. Он был знаток всех вещей, доставляющих удобства и наслаждения, и умёл пользоваться ими. Конёк его были блестящие связи, которые он имел частью по родству моей матери, частью по своим товарищам молодости, на которых он в душе сердился за то, что они далеко ушли в чинах, а он навсегда остался отставным поручиком гвардии. Он, как и все бывшие военные, не умёл одеваться по-модному; но зато он одевался оригинально и изящно. Всегда очень широкое и лёгкое платье, прекрасное бельё, большие отвороченные манжеты и воротнички... Впрочем, всё шло к его большому росту, сильному сложению, лысой голове и спокойным, самоуверенным движениям. Он был чувствителен и даже слезлив. Часто, читая вслух, когда он доходил до патетического³ места, голос его начинал дрожать, слёзы показывались, и он с досадой оставлял книгу. Он любил музыку, пел, аккомпанируя себе на фортепьяно, романсы приятеля своего А..., цыганские песни и некоторые мотивы из опер; но учёной музыки не любил и, не обращая внимания на общее мнение, откровенно говорил, что сонеты Бетховена нагоняют на него сон и скуку и что он не знает лучше ничего, как «Не будите меня, молодёжь», как её

¹ Удачливым (франц.).

² Человек очень большого света — человек, принадлежавший к небольшому кругу особенно знатных и богатых дворян, занимавших самое высокое общественное положение в стране.

³ Патетический — полный чувства, волнующий.

певала Семёнова, и «Не одна», как певала цыганка Танюша. Его натура была одна из тех, которым для хорошего дела необходима публика. И то только он считал хорошим, что называла хорошим публика. Бог знает, были ли у него какие-нибудь нравственные убеждения? Жизнь его была так полна увлечениями всякого рода, что ему некогда было составлять себе их, да он и был так счастлив в жизни, что не видел в том необходимости.

В старости у него образовался постоянный взгляд на вещи и неизменные правила, — но единственно на основании практическом: те поступки и образ жизни, которые доставляли ему счастье или удовольствие, он считал хорошими и находил, что так всегда и всем поступать должно. Он говорил очень увлекательно, и эта способность, мне кажется, усиливала гибкость его правил: он в состоянии был тот же поступок рассказать как самую милую шалость и как низкую подлость.

Глава XI

ЗАНЯТИЯ В КАБИНЕТЕ И ГОСТИНОЙ



Уже смеркалось, когда мы приехали домой. Матан села за рояль, а мы, дети, принесли бумаги, карандаши, краски и расположились рисовать около круглого стола. У меня была только синяя краска; но, несмотря на это, я затеял нарисовать охоту. Очень живо изобразив синего мальчика верхом на синей лошади и синих собак, я не знал навёрное, можно ли нарисовать синего

зайца, и побежал к папá в кабинет посоветоваться об этом. Папá читал что-то и на вопрос мой: «Бывают ли синие зайцы?», не поднимая головы, отвечал: «Бывают, мой друг, бывают». Возвратившись к круглому столу, я изобразил синего зайца, потом нашёл нужным переделывать из синего зайца куст. Куст тоже мне не понравился; я сделал из него дерево, из дерева — скирд, из скирды — облако и, наконец, так испачкал всю бумагу синей краской, что с досады разорвал её и пошёл дремать на вольтеровское кресло.

Я никак не мог постигнуть, зачѣмъ папá бранитъ Кáрла Ивáныча.

— Я очень рада, — сказала татап, — за детѣй, за него: онъ слáвный старикъ.

— Если бы ты видѣла, какъ онъ былъ трóнутъ, когда я ему сказáлъ, что́бы онъ оставилъ эти пятьсотъ рублѣй въ видѣ подарка... но что забáвнее всего — это счётъ, котор́ый онъ принёсъ мнѣ. Это сто́итъ посмотре́ть, — прибáвилъ онъ съ улыбкой, подавая ей записку, написанную руко́ю Кáрла Ивáныча, — прѣлестъ!

Вотъ содержáние этой записки:

«Для детьѣй два удочка — 70 копѣкъ.

Цветной бума́га, золотой коёмочка, клестиръ и болва́н для корóбочка, въ подаркахъ — 6 р. 55 к.

Кни́га и лукъ, подарка детьямъ — 8 р. 16 к.

Пантало́н Никола́ю — 4 рублѣй.

Обѣщаны Петро́м Алекса́ндровичъ из Москв́у въ 18.. го́ду золоты́е часы́ въ 140 рублѣй.

Итого́ слѣдуетъ получи́ть Кáрлу Ма́уеру крóме жалова́нью — 159 рублѣй 79 копѣкъ».

Прочтя́ эту записку, въ кото́рой Кáрл Ивáнычъ трѣбуетъ, что́бы ему заплатили́ все дѣньги, издѣржанные имъ на подарки, и да́же заплатили́ бы за обеща́нный подарокъ, вся́кий подумáет, что́ Кáрл Ивáнычъ бо́льше ничегó, какъ бесчу́вственный и корыстолюбивы́й себялюбецъ, — и вся́кий ошибѣтся.

Войдя́ въ кабинѣтъ съ записками въ рукѣ и съ пригото́вленной рѣчью въ голо́вѣ, онъ намеревáлся краснорѣчиво́ изложитъ́ передъ папá все несправедливости́, претѣрпенные имъ въ на́шемъ до́ме; но когда́ онъ нача́л говори́ть темъ же трóгательнымъ го́лосомъ и съ теми́ же чувствительными интона́циями, съ кото́рыми онъ обыкнове́нно диктовáлъ намъ, его́ краснорѣчье́ подействовало́ сильне́е всего́ на него́ самогó; такъ что́, дойдя́ до того́ мѣста, въ кото́ромъ онъ говори́л: «какъ ни гру́стно мнѣ бу́детъ расста́ться съ детьми́», онъ совсе́мъ сбился́, го́лосъ его́ задрожáл, и онъ прину́жденъ былъ доста́ть из карма́на кле́тчатый плато́к.

— Да, Пѣтр Алекса́ндръчъ, — сказáл онъ сквозь слѣзы́ (этогó мѣста совсе́мъ не́ было въ пригото́вленной рѣчи), — я такъ приви́къ къ детьямъ, что́ не знаю́, что́ бу́ду дѣлать безъ нихъ. Луч́ше я безъ жалова́нья бу́ду служи́ть вамъ, — прибá-

вил он, одной рукой утирая слёзы, а другой подавая счёт.

Что Карл Иванович в эту минуту говорил искренно, это я утвердительно могу сказать, потому что знаю его доброе сердце; но каким образом согласовался счёт с его словами, остаётся для меня тайной.

— Если вам грустно, то мне было бы ещё грустнее расстаться с вами, — сказал папа, потрепав его по плечу, — я теперь раздумал.

Незадолго перед ужином в комнату вошёл Гриша. Он с самого того времени, как вошёл в наш дом, не переставал вздыхать и плакать, что, по мнению тех, которые верили в его способность предсказывать, предвещало какую-нибудь беду нашему дому. Он стал прощаться и сказал, что завтра утром пойдёт дальше. Я подмигнул Володе и вышел в дверь.

— Что?

— Если хотите посмотреть Гришины верёжки, то пойдёмте сейчас на мужской верх — Гриша спит во второй комнате, — в чулане прекрасно можно сидеть, и мы всё увидим.

— Отлично! Подожди здесь: я позову девочек.

Девочки выбежали, и мы отправились на верх. Не без спору решив, кому первому войти в тёмный чулан, мы уселись и стали ждать.

Глава XII

ГРИША



Нам всем было жутко в темноте; мы жались один к другому и ничего не говорили. Почти вслед за нами тихими шагами вошёл Гриша. В одной руке он держал свой посох, в другой — сальную свечу в медном подсвечнике. Мы не переводили дыхания.

— Господи Иисусе Христе! Мати пресвятая богородица! Отцу и сыну и святому духу... — вдыхая в себя воздух, твердил он, с различными интонациями и сокращениями, свойственными только тем, которые часто повторяют эти слова.

С молитвой поставив свой посох в угол и осмотрев постель, он стал раздеваться. Распоясав свой старенький чёрный кушак, он медленно снял изорванный нанковый зипун, тщательно сложил его и повесил на спинку стула. Лицо его теперь не выражало, как обыкновенно, торопливости и тупоумия; напротив, он был спокоен, задумчив и даже величав. Движения его были медленны и обдуманны.

Оставшись в одном белье, он тихо опустился на кровать, окрестил её со всех сторон и, как видно было, с усилием — потому что он поморщился — поправил под рубашкой верёги. Посидев немного и заботливо осмотрев прорванное в некоторых местах бельё, он встал, с молитвой поднял свечу в уровень с кивотом, в котором стояло несколько образов, перекрестился на них и перевернул свечу огнём вниз. Она с треском потухла.

В окна, обращённые на лес, ударяла почти полная луна. Длинная белая фигура юрдивого с одной стороны была освещена бледными, серебрястыми лучами месяца, с другой — чёрной тенью; вместе с тенями от рам падала на пол, стены и доставала до потолка. На дворе караульщик стучал в чугунную доску.

Сложив свои огромные руки на груди, опустив голову и беспрестанно тяжело вздыхая, Гриша молча стоял перед иконами, потом с трудом опустился на колени и стал молиться.

Сначала он тихо говорил известные молитвы, ударяя только на некоторые слова, потом повторил их, но громче и с большим одушевлением. Он начал говорить свои слова, с заметным усилием стараясь выражаться по-славянски. Слова его были нескладны, но трогательны. Он молился о всех благодетелях своих (так он называл тех, которые принимали его, в том числе о матушке, о нас), молился о себе, просил, чтобы бог простил ему его тяжкие грехи, твердил: «Боже, прости врагам моим!» — кричтя поднимался и, повторяя ещё и ещё те же слова, припадал к земле и опять поднимался, несмотря на тяжесть верёг, которые издавали сухой резкий звук, ударяясь о землю.

Волodyа уцепил меня очень больно за ногу; но я даже не оглянулся: потёр только рукой то место и продолжал с чувством детского удивления, жалости и благоговения следить за всеми движениями и словами Гриши.

Вместо веселия и смеха, на которые я рассчитывал, входя в чулан, я чувствовал дрожь и замирание сердца.

Долго ещё находился Гриша в этом положении религиозного восторга и импровизировал молитвы. То утверждал он несколько раз сряду: «Господи помилуй», но каждый раз с новой силой и выражением; то говорил он: «Прости мя, господи, научи мя, что творить... научи мя, что творить, господи!» — с таким выражением, как будто ожидал сейчас же ответа на свои слова; то слышны были одни жалобные рыдания... Он приподнялся на колени, сложил руки на груди и замолк.

Я потихоньку высунул голову из двери и не переводил дыхания. Гриша не шевелился; из груди его вырывались тяжёлые вздохи; в мутном зрачке его кривого глаза, освещённого луною, остановилась слеза.

— Да будет воля твоя! — вскричал он вдруг с неподражаемым выражением, упал лбом на землю и зарыдал, как ребёнок.

Много воды утекло с тех пор, много воспоминаний о былом потеряли для меня значение и стали смутными мечтами, даже и странник Гриша давно окончил своё последнее странствование; но впечатление, которое он произвёл на меня, и чувство, которое возбудил, никогда не умрут в моей памяти.

О великий христианин Гриша! Твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость бога, твоя любовь так велика, что слова сами собою лились из уст твоих — ты их не поверял рассудком... И какую высокую хвалу ты принёс его величию, когда, не находя слов, в слезах повалился на землю!..

Чувство умиления, с которым я слушал Гришу, не могло долго продолжаться, во-первых, потому, что любопытство моё было насыщено, а во-вторых, потому, что я отсидел себе ноги, сидя на одном месте, и мне хотелось присоединиться к общему шептанию и возне, которые слышались сзади меня в тёмном чулане. Кто-то взял меня за руку и шепотом сказал: «Чья это рука?» В чулане было совершенно темно: но по одному прикосновению и голосу, который шептал мне над самым ухом, я тотчас узнал Катеньку.

Совершенно бессознательно я схватил её руку в кортеньких рукавчиках за локоть и припал к ней губами. Катенька, верно, удивилась этому поступку и отдернула

руку: этим движеньем она толкнула сломанный стул, стоявший в чулане. Гриша поднял голову, тихо оглянулся и, читая молитвы, стал крестить все углы. Мы с шумом и шепотом выбежали из чулана.

Глава XIII

НАТАЛЬЯ САВИШНА



В половине прошлого столетия по дворам села Хабаровки бегала в затрапезном платье¹ босонóгая, но весёлая, толстая и краснощёкая дёвка *Ната́шка*. По заслúгам и просьбе отца её, кларнетиста Саввы, дед мой взял её *в верх*² — находиться в числѣ жѣнской прислúги бабушки. Горничная *Ната́шка* отличалась в этой дóлжности крѣтостью нрава и усердием. Когда родилась матушка и понадобилась няня, эту обязанность возложили на *Ната́шку*. И на этом новом поприще она за-

служила похвалы и награды за свою деятельность, верность и привязанность к молодой госпожѣ. Но напúдренная голова и чулки с пряжками молодого бойкого офицiанта Фóки, имѣвшего по службѣ частые сношения с Натальей, пленили её грубое, но любящее сердце. Она даже сама решилась идти к дѣдушке просить позволения выйти за Фóку замуж. Дѣдушка принял её желанье за неблагодарность, прогнѣвался и сослал бедную Наталью за наказанье на скóтный двор в степную деревню. Чѣрез шесть мѣсяцев, однако, так как никто не мог заменить Наталью, она была возвращена в двор и в прежнюю дóлжность. Возвратившись в затрапезку из изгнания, она явилась к дѣдушке, упала ему в ноги и просила вернуть ей милость, ласку и забыть ту дурь, котóрая на неё нашла было и котóрая, она клялась, ужѣ больше не возвратится. И действительно, она сдержала своё слово.

С тех пор Ната́шка сделалась Натальей Савишной и

¹ Затрапезное платье — платье из грубой льняной или пеньковой полосатой ткани.

² В верх — то есть в верхний этаж дома, где обычно находились комнаты детей и хозяйки дома.

надѣла цепецъ; весь запасъ любви, который в ней хранился, она перенесла на барышню свою.

Когда подле матушки заменила её гувернантка, она получила ключи от кладовой, и ей на руки сданы были бельё и вся провизия. Новые обязанности эти она исполняла с тем же усердием и любовью. Она вся жила в барском добре, во всём видела трагу, порчу, расхищение и всеми средствами старалась противодействовать.

Когда матан вышла замуж, желая чём-нибудь отблагодарить Наталью Савишну за её двадцатилетние труды и привязанность, она позвала её к себе и, выразив в самых лестных словах всю свою к ней признательность и любовь, вручила ей лист гербовой¹ бумаги, на котором была написана воляная² Наталья Савишне, и сказала, что, несмотря на то, будет ли она или нет продолжать служить в нашем доме, она всегда будет получать ежегодную пенсию в триста рублей. Наталья Савишна молча выслушала всё это, потом, взяв в руки документ, злобно взглянула на него, пробормотала что-то сквозь зубы и выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Не понимая причины такого странного поступка, матан немного погодя вошла в комнату Натальи Савишны. Она сидела с заплаканными глазами на сундуке, перебирая пальцами посовой платок, и пристально смотрела на валявшиеся на полу перед ней клочки изорванной воляной.

— Что с вами, голубушка Наталья Савишна? — спросила матан, взяв её за руку.

— Ничего, матушка, — отвечала она, — должно быть, я вам чём-нибудь противна, что вы меня со двора гоните... Что ж, я пойду.

Она вырвала свою руку и, едва удерживаясь от слёз, хотела уйти из комнаты. Матан удержала её, обняла, и они обе расплакались.

С тех пор как я себя помню, помню я и Наталью Савишну, её любовь и ласки; но теперь только умею ценить их, — тогда же мне и в голову не приходило, какое редкое, чудесное создание была эта старушка. Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себе: вся жизнь её была любовь и самопожертвование. Я так при-

¹ Гербовая бумага — особая бумага с государственным гербом, на которой писали важные документы.

² Воляная — бумага, документ, по которому крепостной человек отпускался на волю.

выкъ к её бескорыстной, нежной любви к нам, что и не воображал, чтобы это могло быть иначе, нисколько не был благодарен ей и никогда не задавал себе вопросов: а что, счастлива ли она? довольна ли?

Бывало, под предлогом необходимой надобности, прибежишь от урока в её комнату, усядешься и начинаешь мечтать вслух, нисколько не стесняясь её присутствием. Всегда она бывала чем-нибудь занята: или вязала чулок, или рылась в сундуках, которыми была наполнена её комната, или записывала бельё и, слушая всякий вздор, который я говорил, «как, когда я буду генералом, я женюсь на чудесной красавице, куплю себе рыжую лошадь, построю стеклянный дом и выпишу родных Карла Ивановича из Саксонии» и т. д., она приговаривала: «Да, мой батюшка, да». Обыкновенно, когда я вставал и собирался уходить, она отворяла голубой сундук, на крышке которого снутри — как теперь помню — были наклеены красное изображение какого-то гусара, картинка с помадной баночки и рисунок Володи, — вынимала из этого сундука курёнье, зажигала его и, помáхивая, говаривала:

— Это, батюшка, ещё очаковское курёнье. Когда ваш покойный дедушка — царство небесное — под турку ходили, так оттуда ещё привезли. Вот уж последний кусочек остался, — прибавляла она со вздохом.

В сундуках, которыми была наполнена её комната, было решительно всё. Что бы ни понадобилось, обыкновенно говаривали: «Надо спросить у Натальи Савишны», — и действительно, порывшись немного, она находила требуемый предмет и говаривала: «Вот и хорошо, что припрятала». В сундуках этих были тысячи таких предметов, о которых никто в доме, кроме её, не знал и не заботился.

Один раз я на неё рассердился. Вот как это было. За обедом, наливая себе квасу, я уронил графин и облил скатерть.

— Позовите-ка Наталью Савишну, чтобы она порадовалась на своего любимчика, — сказала татапа.

Наталья Савишна вошла и, увидав лужу, которую я сделал, покачала головой; потом татапа сказала ей что-то на ухо, и она, погрозившись на меня, вышла.

После обеда я, в самом веселом расположении духа, припрыгивая, отправился в залу, как вдруг из-за двери выскочила Наталья Савишна с скатертью в руке, пойма-

ла меня и, несмотря на отчаянное сопротивление с моей стороны, начала тереть меня мокрым по лицу, приговаривая: «Не пачкай скатертей, не пачкай скатертей!» Меня так это обидело, что я разревёлся от злости.

«Как! — говорил я сам себе, прохаживаясь по залу и захлёбываясь от слёз.— Наталья Савишна, просто *Наталья*, говорит мне ты и ещё бьёт меня по лицу мокрой скатертью, как дворового мальчишку. Нет, это ужасно!»

Когда Наталья Савишна увидела, что я распустил слюни, она тотчас же убежала, а я, продолжая прохаживаться, рассуждал о том, как бы отплатить дерзкой *Наталье* за нанесённое мне оскорбление.

Через несколько минут Наталья Савишна вернулась, робко подошла ко мне и начала увещавать:

— Полноте, мой батюшка, не плачьте... простите меня, дурю... я виновата... уж вы меня простите, мой голубчик... вот вам.

Она вынула из-под платка корнет¹, сделанный из красной бумаги, в котором были две карамельки и одна вишневая ягода, и дрожащей рукой подала его мне. У меня не доставало сил взглянуть в лицо доброй старушке; я, отвернувшись, принял подарок, и слёзы потекли ещё обильнее, но уже не от злости, а от любви и стыда.

Глава XIV

РАЗЛУКА



На другой день после описанных мною происшествий, в двенадцатом часу утра, коляска и бричка стояли у подъезда. Николай был одет по-дорожному, то есть штаны были всунуты в сапоги и старый сюртук туго-натянуто подпоясан кушаком. Он стоял в бричке и укладывал шинели и подушки под сиденье; когда оно ему казалось высоко, он садился на подушки

и, припрыгивая, обминал их.

— Сделайте божескую милость, Николай Дмитрич,

¹ Корнет — здесь: мешочек, пакетик, свернутый из бумаги.

нельзя ли к вам будет баринову щикатёлку положить, — сказа́л запыха́вшийся камерди́нер папа́, высобыва́ясь из коля́ски, — она́ ма́ленькая...

— Вы бы прѣжде говори́ли, Михе́й Ива́ныч, — отве́чал Никола́й скороговоро́кой и с доса́дой, изо всех сил броса́я кака́й-то узелок на дно бри́чки. — Ей-бо́гу, голова́ и так кру́гом идёт, а тут ещё вы с ва́шими щикатёлками, — приба́вил он, приподня́в фура́жку и утира́я с загорело́го лба крупны́е ка́пли по́та.

Дворовы́е мужчи́ны, в сюрту́ках, кафта́нах, руба́шках, без ша́пок, же́нщины, в затрапе́зах, полоса́тых платка́х, с детьми́ на рука́х, и босоногие ребя́тишки стоя́ли около крыльца́, посма́тривали на экипа́жи и разгова́ривали ме́жду собой. Оди́н из ямщи́ков — сго́рбленный старик в зи́мней ша́пке и армя́ке — держа́л в руке́ дышло́ коля́ски, потро́гивал его́ и глубо́комысленно посма́тривал на ход; друго́й — ви́дный молодо́й па́рень, в одной бе́лой руба́хе с кра́сными кума́човыми ла́стовицами, в че́рной поя́рковой шля́пе черепа́ником, кото́рую он, почёсывая́ свой белоку́рые кудри, сбива́л то на одно́, то на друго́е у́хо, — положи́л свой армя́к на ко́злы, заки́нул туда́ же во́жжи и, постёгивая́ плетёным кну́тиком, посма́тривал то на свои сапоги́, то на кучеро́в, кото́рые ма́зали бри́чку. Оди́н из них, нату́жившись, держа́л подьём; друго́й, нагну́вшись над колесо́м, тща́тельно ма́зал ось и вту́лку, — да́же, что́бы не пропа́дал оста́льной на помазке́ де́готь, ма́знул им снizu по кру́гу. Почто́вые¹, разнома́стные, разби́тые лошади́ стоя́ли у решётки и отма́хивались от мух хвоста́ми. Оди́н из них, выста́вляя́ свой косма́тые оплывши́е но́ги, жму́рили глаза́ и дрема́ли; други́е от ску́ки чеса́ли друг дру́га и́ли шипа́ли листьа́ и сте́бли же́сткого те́мно-зеле́ного па́поротника, кото́рый рос по́дле крыльца́. Не́сколько борзы́х соба́к — оди́н тяжело́ дыша́ли, ле́жа на со́лнце, други́е в те́ни ходи́ли под коля́ской и бри́чкой и вы́лизывали са́ло около́ осей. Во все́м во́здухе была́ кака́я-то пы́льная мгла, горизон́т был се́ро-лило́вого цвета́; но ни одной́ тучки́ не́ было на не́бе. Си́льный запа́дный ве́тер поднимáл столба́ми пы́ль с доро́г и поле́й, гнул маку́шки высо́ких лип и берёз са́да и дале́ко относил па́давшие

¹ Почто́вые лошади́ — лошади́ с почто́вой ста́нции; их ви́ряга́ли в ба́рский экипа́ж и меня́ли на ка́ждой почто́вой ста́нции. На почто́вых лоша́дях е́здили то́лько на дале́кие расстоя́ния.

жёлтые листья. Я сидел у окна и с нетерпением ожидал окончания всех приготовлений.

Когда все собрались в гостиной около круглого стола, что в последний раз провести несколько минут вместе, мне и в голову не приходило, какая грустная минута предстоит нам. Самые пустые мысли бродили в моей голове. Я задавал себе вопросы: какой ящик поедет в бричке и какой в коляске? кто поедет с папá, кто с Карлом Иванычем? и для чего непременно хотят меня укутать в шарф и ваточную чуйку?

«Что я за неженка? авось не замёрзну. Хоть бы поскорей это всё кончилось: сесть бы и ехать».

— Кому прикажете записку о детском белье отдать? — сказала вошедшая, с заплаканными глазами и с запиской в руке, Наталья Савишна, обращаясь к татап.

— Николаю отдайте, да приходите же после с детьми проститься.

Старушка хотела что-то сказать, но вдруг остановилась, закрыла лицо платком и, махнув рукою, вышла из комнаты. У меня немного защемило сердце, когда я увидел это движение; но нетерпение ехать было сильнее этого чувства, и я продолжал совершенно равнодушно слушать разговор отца с матушкой. Они говорили о вещах, которые заметно не интересовали ни того, ни другого: что нужно купить для дома? что сказать княжне Sophie и madame Julie?¹ и хороша ли будет дорога?

Вошёл Фёка и точно тем же голосом, которым он докладывал «кушать готово», остановившись у притолоки, сказал: «Лошади готовы». Я заметил, что татап вздрогнула и побледнела при этом известии, как будто оно было для неё неожиданно.

Фёке приказано было затворить все двери в комнате. Меня это очень забавляло, «как будто все спрятались от кого-нибудь».

Когда все сели, Фёка тоже присел на кончике стула; но только что он это сделал, дверь скрипнула, и все оглянулись. В комнату торопливо вошла Наталья Савишна и, не поднимая глаз, приютилась около двери на одном стуле с Фёкой. Как теперь вижу я плешивую голову, морщинистое неподвижное лицо Фёки и сгорбленную добрую фигурку в чепце, из-под которого виднеются седые

¹ Софи и мадам Жюли.

ДЕТСТВО



Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеть воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений.

Набегавшись досыта, сидишь, бывало, за чайным столом, на своём высоком креслице; уже поздно, давно выпил свою чашку молока с сахаром, сон смыкает глаза, но не трогаясь с места, сидишь и слушаешь. И как не слушать? Мама говорит с кем-нибудь, и звуки голоса её так сладки, так приветливы. Одни звуки эти так много говорят моему сердцу! Отуманенными дремотой глазами я пристально смотрю на её лицо, и вдруг она сделалась вся маленькая, маленькая — лицо её не больше пюговки; но оно мне всё так же ясно видно: вижу, как она взглянула на меня и как улыбнулась. Мне нравится видеть её такой крошечной. Я прищуриваю глаза ещё больше, и она делается не больше тех мальчиков, которые бывают в зрачках; но я пошевелился — и очарование разрушилось; я суживаю глаза, поворачиваюсь, всячески стараюсь возобновить его, но напрасно.

Я встаю, с ногами забираюсь и уютно укладываюсь на кресло.

— Ты опять заснёшь, Николенька, — говорит мне папа, — ты бы лучше шёл наверх.

— Я не хочу спать, мамаша, — ответишь ей, и неясные, но сладкие грёзы наполняют воображение, здоровый детский сон смыкает веки, и через минуту забудешься и спишь до тех пор, пока не разбудят. Чувствуешь, бывало, впросонках, что чья-то нежная рука трогает тебя; по одному прикосновению узнаёшь её и ещё во сне невольно схватишь эту руку и крепко, крепко прижмёшь её к губам.

Все уже разошлись; одна свеча горит в гостиной; мама сказала, что она сама разбудит меня; это она присела на кресло, на котором я сплю, своей чудесной нежной

ручкой провела по моим волосам, и над ухом моим звучит милый знакомый голос:

— Вставай, моя душечка: пора идти спать.

Ничьи равнодушные взоры не стесняют её: она не боится излить на меня всю свою нежность и любовь. Я не шевелюсь, но ещё крепче целую её руку.

— Вставай же, мой ангел.

Она другой рукой берёт меня за шею, и пальчики её быстро шевелятся и щекотят меня. В комнате тихо, полутемно; нервы мои возбуждены щекоткой и пробуждением; мамаша сидит подле самого меня; она трогает меня; я слышу её запах и голос. Всё это заставляет меня вскочить, обвить руками её шею, прижать голову к её груди и, задыхаясь, сказать:

— Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю!

Она улыбается своей грустной, очаровательной улыбкой, берёт обеими руками мою голову, целует меня в лоб и кладёт к себе на колени.

— Так ты меня очень любишь? — Она молчит с минуту, потом говорит: — Смотри, всегда люби меня, никогда не забывай. Если не будет твоей мамашы, ты не забудешь её? не забудешь, Николаенька?

Она ещё нежнее целует меня.

— Полно! и не говори этого, голубчик мой, душечка моя! — вскрикиваю я, целую её колени, и слёзы ручьями льются из моих глаз, — слёзы любви и восторга.

После этого, как, бывало, придёшь наверх и станешь перед иконами, в своём ваточном халатце, какое чудесное чувство испытываешь, говоря: «Спаси, господи, папеньку и маменьку». Повторяя молитвы, которые в первый раз лепетали детские уста мои за любимой матерью, любовь к ней и любовь к богу как-то странно сливались в одно чувство.

После молитвы завернёшься, бывало, в одеяльце; на душе легко, светло и отрадно; одни мечты гонят другие, — но о чём они? Они неуловимы, но исполнены чистой любовью и надеждами на светлое счастье. Вспомнишь, бывало, о Карле Ивановиче и его горькой участи — единственном человеке, которого я знал несчастливым, — и так жалко станет, так полюбишь его, что слёзы потекут из глаз, и думаешь: «Дай бог ему счастья, дай мне возможность помочь ему облегчить его горе; я всем готов для него пожертвовать». Потом любимую фарфоровую иг-

но, и вы больше не прикасайтесь. Ну, а вы, Николенька,— прибавил он, вставая и продолжая искоса смотреть на турка,— откройте, наконец, нам ваш секрет, что вы поднесёте бабушке? Право, лучше было бы тоже головку. Прощайте, господá,— сказал он, взял шляпу, билетик и вышел.

В эту минуту я тоже думал, что лучше бы было головку, чем то, над чем я трудился. Когда нам объявили, что скоро будут именины бабушки и что нам должно приготовить к этому дню подарки, мне пришло в голову написать ей стихи на этот случай, и я тотчас же прибавил два стиха с рифмами, надеясь так же скоро прибавить остальные. Я решительно не помню, каким образом вошла мне в голову такая странная для ребёнка мысль, но помню, что она мне очень нравилась и что на все вопросы об этом предмете я отвечал, что непременно поднесу бабушке подарок, но никому не скажу, в чём он будет состоять.

Против моего ожидания оказалось, что, кроме двух стихов, придуманных мною сгоряча, я, несмотря на все усилия, ничего дальше не мог сочинить. Я стал читать стихи, которые были в наших книгах; но ни Дмитриев, ни Державин не помогли мне — напротив, они ещё более убедили меня в моей неспособности. Зная, что Карл Иванович любил списывать стишки, я стал потихоньку рыться в его бумагах и в числе немецких стихотворений нашёл одно русское, принадлежащее, должно быть, собственно его перу.

Г-же Л... Петровской, 1828, 3 июня.

Помните близко,
Помните далеко,
Помните моего
Ещё отныне и до всегда,
Помните ещё до моего гроба
Как верен я любить имею.

Карл Мауер

Стихотворение это, написанное красивым круглым почерком на тонком почтовом листе, понравилось мне по трогательному чувству, которым оно проникнуто; я тотчас же выучил его наизусть и решился взять за образец. Дело пошло гораздо легче. В день именин поздравление

из двенадцати стихов было готово, и, сидя за столом в классной, я переписывал его на велёневую бумагу¹.

Уже два листа бумаги были испорчены.. не потому, чтобы я думал что-нибудь переменить в них: стихи мне казались превосходными; но с третьей линейки концы их начали загибаться кверху всё больше и больше, так что даже издали видно было, что это написано криво и никуда не годится.

Третий лист был так же крив, как и прежние; но я решился не переписывать больше. В стихотворении своём я поздравлял бабушку, желал ей много лет здравствовать и заключал так:

Стараться будем утешать
И любим, как родную мать.

Кажется, было бы очень недурно, но последний стих как-то странно оскорблял мой слух.

— И любим, как родную мать,— твердил я себе под нос.— Какую бы рифму вместо *мать*? играть? кровать?.. Э, сойдёт! Всё лучше Карл-Иванычевых!

И я написал последний стих. Потом в спальне я прочёл вслух всё своё сочинение с чувством и жёстами. Были стихи совершенно без размера, но я не останавливался на них: последний же ещё сильнее и неприятнее поразил меня. Я сел на кровать и задумался...

«Зачём я написал: *как родную мать*? её ведь здесь нет, так не нужно было и поминать её; правда, я бабушку люблю, уважаю, но всё она не то... зачём я написал это, зачём я солгал? Положим, это стихи, да всё-таки не нужно было».

В это самое время вошёл портной и принёс новые полуфрочки.

— Ну, так и быть! — сказал я в сильном нетерпении, с досадой сунул стихи под подушку и побежал примеривать московское платье.

Московское платье оказалось превосходно: коричневые полуфрочки с бронзовыми пуговками были сшиты в обтяжку — не так, как в деревне нам шивали, на рост, — чёрные брючки, тоже узенькие, чудо как хорошо обозначали мускулы и лежали на сапогах.

¹ Велёневая бумага — плотная, глянцевитая, высокого качества бумага.

«Наконѣц-то и у меня панталоны со штрипками, настоящие!» — мечтал я, вне себя от радости, осматривая со всех сторон свой ноги. Хотя мне было очень узко и неловко в новом платье, я скрыл это от всех, сказал, что, напротив, мне очень покойно и что ежели есть недостаток в этом платье, так только тот, что оно немножко просторно. После этого я очень долго, стоя перед зеркалом, причёсывал свою обильно напомаженную голову; но сколько ни старался, я никак не мог пригладить вихры на макушке: как только я, желая испытать их послушание, переставал прижимать их щёткой, они поднимались и торчали в разные стороны, придавая моему лицу самое смешное выражение.

Карл Иванович одевался в другой комнате, и через классную пронесли к нему синий фрак и ещё какие-то белые принадлежности. У двери, которая велла вниз, слышался голос одной из горничных бабушки; я вышел, чтобы узнать, что ей нужно. Она держала на руке туго накрамаленную манишку и сказала мне, что она пришла для того, чтобы успеть вымыть её ко времени. Я взялся передать манишку и спросил, встала ли бабушка.

— Как же-с! уж кофе откушали, и протопоп¹ пришёл. Каким вы молдчиком! — прибавила она с улыбкой, оглядывая моё новое платье.

Замечание это заставило меня покраснеть; я перевернулся на одной ножке, щёлкнул пальцами и припрыгнул, желая ей этим дать почувствовать, что она ещё не знает хорошенько, какой я действительно молдчик.

Когда я принёс манишку Карлу Ивановичу, она уже была не нужна ему: он надел другую и, перегнувшись перед маленьким зеркальцем, которое стояло на столе, держался обеими руками за пышный бант своего галстука и пробовал, свободно ли входит в него и обратно его гладко выбритый подбородок. Обдёрнув со всех сторон наши платья и попросив Николая сделать для него то же самое, он повёл нас к бабушке. Мне смешно вспомнить, как сильно пахло от нас троих помадой, в то время, как мы стали спускаться по лестнице.

У Карла Ивановича в руках была коробочка своего изделия, у Володи — рисунок, у меня — стихи; у каждого

¹ Протопоп — священник.

на языкѣ было привѣтствие, с которым он поднесёт свой подарок. В ту минуту, как Карл Иваныч отворил дверь залы, священник надевал ризу и раздались первые звуки молебна.

Бабушка была уже в зале: сгорбившись и опершись на спинку стула, она стояла у стѣнки и набожно молилась; подле неё стоял папа. Он обернулся к нам и улыбнулся, замѣтив, как мы, заторопившись, прятали за спины приготовленные подарки и, стараясь быть незамеченными, остановились у самой двери. Весь эффект неожиданности, на который мы рассчитывали, был потерян.

Когда стали подходить к кресту, я вдруг почувствовал, что нахожусь под тяжѣлым влиянием непреодолимой, одуряющей застенчивости, и, чувствуя, что у меня никогда не достанет духу поднести свой подарок, я спрятался за спину Карла Иваныча, который, в самых отборных выражениях поздравив бабушку, переложил коробочку из правой руки в лѣвую, вручил её имениннице и отошёл несколько шагов, чтобы дать место Володе. Бабушка, казалось, была в восхищении от коробочки, оклеенной золотыми каёмками, и самой ласковой улыбкой выразила свою благодарность. Замѣтно, однако, было, что она не знала, куда поставить эту коробочку, и, должно быть, поэтому предложила папа посмотреть, как удивительно искусно она сделана.

Удовлетворив своему любопытству, папа передал её протопбу, которому вещь эта, казалось, чрезвычайно понравилась: он покачивал головой и с любопытством посматривал то на коробочку, то на мастера, который мог сделать такую прекрасную штуку. Володя поднес своего турка и тоже заслужил самые лестные похвалы со всех сторон. Настал и мой черёд: бабушка с одобрительной улыбкой обратилась ко мне.

Те, которые испытали застенчивость, знают, что чувство это увеличивается в прямом отношении времени, а решительность уменьшается в обратном отношении, то есть: чем больше продолжается это состояние, тем делается оно непреодолимее и тем менее остаётся решительности.

Последняя смѣлость и решительность оставили меня в то время, когда Карл Иваныч и Володя подносили свои подарки, и застенчивость моя дошла до последних пределов: я чувствовал, как кровь от сердца беспрестанно при-

ливалась мне в голову, как одна краска на лице сменялась другою и как на лбу и на носу выступали крупные капли пота. Уши горели, по всему телу я чувствовал дрожь и испарину, переминался с ноги на ногу и не трогался с места.

— Ну, покажи же, Николенька, что у тебя — корбочка или рисованье? — сказал мне папа.

Делать было нечего: дрожащей рукой подал я измятый роковой свёрток; но голос совершенно отказался служить мне, и я молча остановился перед бабушкой. Я не мог прийти в себя от мысли, что вместо ожидаемого рисунка при всех прочтут мой никудá не годные стихи и слова: как *родную мать*, которые ясно докажут, что я никогда не любил и забыл её. Как передать мои страдания в то время, когда бабушка начала читать вслух моё стихотворение и когда, не разбирая, она останавливалась на середине стиха, чтобы с улыбкой, которая тогда мне казалась насмешливою, взглянуть на папа, когда она произносила не так, как мне хотелось, и когда, по слабости зренья, не дочтя до конца, она передала бумагу папа и попросила его прочесть ей всё сначала? Мне казалось, что она это сделала потому, что ей надоело читать такие дурные и криво написанные стихи, и для того, чтобы папа мог сам прочесть последний стих, столь явно доказывающий мою бесчувственность. Я ожидал того, что он щёлкнет меня по носу этими стихами и скажет: «Дрянной мальчишка, не забывай мать... вот тебе за это!», но ничего такого не случилось, напротив, когда все было прочтено, бабушка сказала: шаптап!¹ и поцеловала меня в лоб.

Корбочка, рисунок и стихи были положены рядом с двумя батистовыми платками и табакёркой с портретом шаптап на выдвижной столик вольтёровского кресла, в котором всегда сидела бабушка.

— Княгиня Варвара Ильинишна, — доложил один из двух огромных лакеев, ездивших за каретой бабушки.

Бабушка, задумавшись, смотрела на портрет, вделанный в черепáховую табакёрку, и ничего не отвечала.

— Прикажете просить, ваше сиятельство? — повторил лакей.

¹ Очаровательно! (франц.)

КНЯГИНЯ КОРНАКОВА



— Проси́,— сказа́ла ба́бушка, усаживаясь глۇбже в кресло.

Княгиня была́ жёнщина лет сорока́ пяти́, ма́ленькая, тшеду́шная, суха́я и же́лчная, с се́ро-зе́лёными неприятными гла́зками, выражение кото́рых я́вно противорéчило неестественно-уми́льно сло́женному ро́тику. Из-под ба́рхатной шляпки с стра́усовым перо́м видне́лись све́тло-рыжева́тые во́лосы; брóви и ресни́цы ка́зались ещё светле́е и рыжеватее на нездорбóвом цвёте её лица́. Несмотря́ на э́то, благода́ря её непринуждённым дви́жениям, кро́шечным рука́м и о́собенной сýхости во всех черта́х, о́бщий вид её имёл что́-то благо́рдное и эне́ргическое.

Княгиня о́чень мно́го говори́ла и по своёй речивости принадлежа́ла к тому́ разря́ду люде́й, кото́рые всегда́ го́ворят так, как бу́дто им противорéчат, хотя́ бы никто́ не говори́л ни слова́: она́ то возвыша́ла го́лос, то, постепенно́ понижая́ его́, вдруг с но́вой живостью́ начина́ла говори́ть и огля́дывалась на прису́тствующих, но не принима́ющих уча́стия в разгово́ре о́соб, как бу́дто стара́ясь подкре́пить себя́ э́тим взгля́дом.

Княгиня о́чень мно́го говори́ла и по своёй речивости принадлежа́ла к тому́ разря́ду люде́й, кото́рые всегда́ го́ворят так, как бу́дто им противорéчат, хотя́ бы никто́ не говори́л ни слова́: она́ то возвыша́ла го́лос, то, постепенно́ понижая́ его́, вдруг с но́вой живостью́ начина́ла говори́ть и огля́дывалась на прису́тствующих, но не принима́ющих уча́стия в разгово́ре о́соб, как бу́дто стара́ясь подкре́пить себя́ э́тим взгля́дом.

Несмотря́ на то, что княгиня поцелова́ла ру́ку ба́бушки, беспреста́нно называ́ла её *ma bonne tante*¹, я заме́тил, что ба́бушка была́ ёю недово́льна: она́ ка́к-то о́собенно поднимáла брóви, слۇшая её рассу́аз о том, почему́ князь Миха́йло ника́к не мог сам прие́хать поздра́вить ба́бушку, несмотря́ на сильне́йшее жела́ние; и, отвеча́я по-ру́сски на францу́зскую речь княгини, она́ сказа́ла, о́собенно растя́гивая свои́ слова́:

— О́чень вам благода́рна, моя́ ми́лая, за ва́шу внима́тельность; а что князь Миха́йло не прие́хал, так что ж про то и говори́ть... у него́ всегда́ дел про́пасть; да и то сказа́ть, что ему́ за удово́льствие с стару́хой-сиде́ть?

И, не дава́я княгине вре́мени опровергну́ть её слова́, она́ продолжа́ла:

¹ Моя́ добра́я тету́шка (*франц.*).

— Что, как ваши дѣтки, моя милая?

— Да, слава богу, ma tante¹, растут, учатся, шалят... особенно Этьен — старший, такой повеса становится, что ладу никакого нет; зато и умён — un garçon, qui promet². Можете себе представить, mon cousin³, — продолжала она, обращаясь исключительно к папá, потому что бабушка, нисколько не интересуясь детьми княгини, а желая похвастаться своими внуками, с тщательностью достала мой стих из-под коробочки и стала их развѣрты-вать, — можете себе представить, mon cousin, что он сде-лал на днях...

И княгиня, наклонившись к папá, начала ему расска-зывать что-то с большим одушевлѣнием. Окóнчив рассказ, которого я не слышал, она тотчас засмеялась и, вопроси-тельно глядя в лицо папá, сказала:

— Какъв мальчик, mon cousin? Он стоил, чтобы его высесть; но выдумка эта так умна и забавна, что я его простила, mon cousin.

И княгиня, устремив взоры на бабушку, ничего не го-воря, продолжала улыбаться.

— Разве вы *бѣте* своих детѣй, моя милая? — спроси-ла бабушка, значительно поднимая брови и дѣлая осó-бенное ударѣние на слóве *бѣте*.

— Ах, ma bonne tante, — кинув быстрый взгляд на папá, добреньким голосом отвечала княгиня, — я знаю, какого вы мнѣния на этот счёт; но позвольте мне в этом одном с вами не согласиться: сколько я ни думала, сколько ни читала, ни советовалась об этом предмете, всё-таки опыт привёл меня к тому, что я убедилась в не-обходимости дѣйствовать на детѣй страхом. Чтобы что-нибудь сделать из ребёнка, нужен страх... не так ли, mon cousin? А чего, je vous demande un peu⁴, дѣти боят-ся больше, чем рóзги?

При этом она вопросительно взглянула на нас, и, при-наюсь, мне сделалось как-то нелóвко в эту минуту.

— Как ни говорите, а мальчик до двенадцати и да́же до четырнадцати лет всё ещё ребёнок; вот дѣвочка — дру-гое дѣло.

«Какое счастье, — подумал я, — что я не её сын».

¹ Тѣтушка (франц.).

² Мальчик, подающий надежды (франц.).

³ Мой кузѣн (франц.).

⁴ Я вас спрашиваю (франц.).

— Да, это прекрасно, моя милая,— сказала бабушка, свёртывая мои стихи и укладывая их под коробочку, как будто не считая после этого княгиню достойною слышать такое произведение,— это очень хорошо, только скажите мне, пожалуйста, каких после этого вы можете требовать деликатных чувств от ваших детей?

И, считая этот аргумент¹ неотразимым, бабушка прибавила, чтобы прекратить разговор:

— Впрочем, у каждого на этот счёт может быть своё мнение.

Княгиня не отвечала, но только снисходительно улыбалась, выражая этим, что она извиняет эти странные предрассудки в особе, которую так много уважает.

— Ах, да познакомьте же меня с вашими молодыми людьми,— сказала она, глядя на нас и приветливо улыбаясь.

Мы встали и, устремив глаза на лицо княгини, никак не знали: что же нужно сделать, чтобы доказать, что мы познакомились.

— Поцелуйте же руку княгини,— сказал папа.

— Прошу любить старую тётку,— говорила она, целуя Володю в волосы,— хотя я вам и дальняя, но я считаю по дружеским связям, а не по степеням родства,— прибавила она, относясь преимущественно к бабушке; но бабушка продолжала быть недовольной ею и отвечала:

— Э! моя милая, разве нынче считается такое родство?

— Этот у меня будет светский молодой человек,— сказал папа, указывая на Володю,— а этот поэт,— прибавил он, в то время как я, целуя маленькую, сухую ручку княгини, с чрезвычайной ясностью воображал в этой руке розгу, под розгой — скамейку, и т. д., и т. д.

— Какой? — спросила княгиня, удерживая меня за руку.

— А этот, маленький, с вихрами,— отвечал папа, весело улыбаясь.

«Что ему сделали мои вихры... разве нет другого разговора?» — подумал я и отошёл в угол.

Я имел самые странные понятия о красоте — даже Карла Иваница считал первым красавцем в мире; но очень хорошо знал, что я нехорош собой, и в этом ни-

¹ Аргумент — довод, доказательство.

ско́лько не оши́бался; по́тому ка́ждый на́мёк на мою́ на-
ру́жность больно оскорбля́л меня́.

Я очень хоро́шо помню, как раз за обе́дом — мне было тогда́ шесть лет — говори́ли о моей на́ружности, как та-
тапа стара́лась найти́ что-нибудь хоро́шее в моём лице́,
говори́ла, что у меня́ умные глаза́, приятная улы́бка, и,
нако́нec, уступя́я до́водам отца́ и очеви́дности, прину́ж-
дена́ была́ созна́ться, что я ду́рён; и по́том, когда́ я бла-
годарил её за обе́д, потрепа́ла меня́ по щеке́ и сказа́ла:

— Ты э́то знай, Нико́ленька, что за твоё лице́ тебя́
никто́ не бу́дет люби́ть; по́тому ты дол́жен стара́ться
быть умным и до́брым ма́льчиком.

Эти слова́ не то́лько убеди́ли меня́ в том, что я не
краса́вец, но ещё и в том, что я непреме́нно бу́ду до́брым
и умным ма́льчиком.

Несмотря́ на э́то, на меня́ ча́сто находи́ли мину́ты от-
ча́яния: я вообража́л, что нет сча́стия на земле́ для чело-
ве́ка с та́ким широ́ким но́сом, то́лстыми губа́ми и ма́-
ленькими се́рыми глаза́ми, как я; я проси́л бо́га сде́лать
чу́до — превра́тить меня́ в краса́вца, и всё, что имёл в
настоя́щем, всё, что мог имётъ в бу́дущем, я всё о́тдал бы
за краси́вое лице́.

Глава XVIII

КНЯЗЬ ИВАН ИВАНЫЧ



Когда́ княги́ня вы́слу-
шала стихи́ и осы́пала со-
чинителя́ похва́лами, ба́-
бушка́ смягчи́лась, ста́ла
говори́ть с ней по-фран-
цузски, перестала́ назы-
вать её *вы, моя́ ми́лая* и пригласи́ла прие́хать к нам ве-
чером со все́ми детьми́, на что княги́ня согласи́лась и,
посидев ещё́ немно́го, уехала́.

Госте́й с поздра́влениями прие́зжа́ло так мно́го в э́тот
день, что на дворе́, око́ло подъезда́, це́лое у́тро не пере-
ставало́ стоя́ть по не́сколько экипа́жей.

— *Bonjour, chère cousine*¹, — сказа́л оди́н из госте́й,
войдя́ в ко́мнату́ и целу́я ру́ку ба́бушки.

¹ Здра́вствуйте, доро́гая кузи́на (*франц.*).

Это был человек лет семидесяти, высокого роста, в военном мундире с большими эполетами, из-под воротника которого виден был большой белый крест, и с спокойным открытым выражением лица. Свобода и простота его движения поразили меня. Несмотря на то, что только на затылке его оставался полукруг жидких волос и что положение верхней губы ясно доказывало недостаток зубов, лицо его было ещё замечательной красоты.

Князь Иван Иванович в конце прошлого столетия, благодаря своему благородному характеру, красивой наружности, замечательной храбрости, знатной и сильной родне и в особенности счастью, сделал ещё в очень молодых годах блестящую карьеру. Он продолжал служить, и очень скоро честолюбие его было так удовлетворено, что ему больше нечего было желать в этом отношении. С первой молодости он держал себя так, как будто готовился занять то блестящее место в свете, на которое впоследствии поставила его судьба; поэтому, хотя в его блестящей и несколько тщеславной жизни, как и во всех других, встречались неудачи, разочарования и огорчения, он ни разу не изменил ни своему всегда спокойному характеру, ни возвышенному образу мыслей, ни основным правилам религии и нравственности и приобрёл общее уважение не столько на основании своего блестящего положения, сколько на основании своей последовательности и твердости. Он был небольшого ума, но благодаря такому положению, которое позволяло ему свысока смотреть на все тщеславные тревожения жизни, образ мыслей его был возвышенный. Он был добр и чувствителен, но холоден и несколько надменен в обращении. Это произошло оттого, что, быв поставлен в такое положение, в котором он мог быть полезен многим, своею холодностью он старался оградить себя от беспрестанных просьб и заискиваний людей, которые желали только воспользоваться его влиянием. Холодность эта смягчалась, однако, снисходительной вежливостью человека *очень большого света*. Он был хорошо образован и начитан; но образование его остановилось на том, что он приобрёл в молодости, то есть в конце прошлого столетия. Он прочёл всё, что было написано во Франции замечательного по части философии и красноречия в XVIII веке, основательно знал все лучшие произведения французской литературы, так что мог и любил часто цитировать места из

Расина, Корнеля, Боало, Мольера, Монтеня, Фенелона; имёл блестящие познания в мифологии и с пользой изучал, во французских переводах, древние памятники эпической поэзии, имёл достаточные познания в истории, почерпнутые им из Сегюра; но не имёл никакого понятия ни о математике, дальше арифметики, ни о физике, ни о современной литературе: он мог в разговоре прилично умолчать или сказать несколько общих фраз о Гёте, Шиллере и Байроне, но никогда не читал их. Несмотря на это французско-классическое образование, которого остаётся теперь уже так мало образчиков, разговор его был прост, и простота эта одинаково скрывала его незнание некоторых вещей и выказывала приятный тон и терпимость. Он был большой враг всякой оригинальности, говоря, что оригинальность есть уловка людей дурного тона. Общество было для него необходимо, где бы он ни жил; в Москве или за границей, он всегда жил одинаково открыто и в известные дни принимал у себя весь город. Он был на такой ноге¹ в городе, что приглашительный билет от него мог служить паспортом во все гостиные, что многие молоденькие и хорошенькие дамы охотно подставляли ему свои розовенькие щёчки, которые он целовал как будто с отеческим чувством, и что иные, по-видимому, очень важные и порядочные люди были в неописанной радости, когда допускались к партии² князя.

Уже мало оставалось для князя таких людей, как бабушка, которые были бы с ним одного круга, одинакого воспитания, взгляда на вещи и одних лет; поэтому он особенно дорожил своей старинной, дружеской связью с нею и оказывал ей всегда большое уважение.

Я не мог наглядеться на князя: уважение, которое ему все оказывали, большие эполеты, особенная радость, которую изъявила бабушка, увидев его, и то, что он один, по-видимому, не боялся её, обращался с ней совершенно свободно и даже имёл смелость называть её *ma cousine*, внушили мне к нему уважение, равное, если не большее, тому, которое я чувствовал к бабушке. Когда ему показали мой стих, он подозвал меня к себе и сказал:

¹ Он был на такой ноге (образное выражение) — он принадлежал к самым знатым и богатым людям в городе.

² Допускались к партии князя — на званых вечерах допускались играть в карты с князем.

— Почём знать, ma cousine, может быть это будет другой Державин.

При этом он так больно ущипнул меня за щеку, что если я не вскрикнул, так только потому, что догадался принять это за ласку.

Гости разъехались, папа и Володя вышли; в гостиной остались князь, бабушка и я.

— Отчего это наша милая Наталья Николаевна не приехала? — спросил вдруг князь Иван Иванович после минутного молчания.

— Ah! mon cher¹, — отвечала бабушка, понизив голос и положив руку на рукав его мундира, — она, верно бы, приехала, если бы была свободна делать, что хочет. Она пишет мне, что будто Piège² предлагал ей ехать, но что она сама отказалась, потому что доходов у них будто бы совсем не было нынешний год; и пишет: «Притом, мне и незачем переезжать нынешний год всем домом в Москву. Любочка ещё слишком мала; а насчёт мальчиков, которые будут жить у вас, я ещё покойнее, чем ежели бы они были со мною». Всё это прекрасно! — продолжала бабушка таким тоном, который ясно доказывал, что она вовсе не находила, чтобы это было прекрасно, — мальчиков давно пора было прислать сюда, чтобы они могли чему-нибудь учиться и привыкать к свету; а то как же им могли дать воспитание в деревне?.. ведь старшему скоро тринадцать лет, а другому одиннадцать... Вы заметили, mon cousin, они здесь совершенно как дикие... в комнату войти не умеют.

— Я, однако, не понимаю, — отвечал князь, — отчего эти всегдашние жалобы на расстройство обстоятельств? У него очень хорошее состояние, а Наташину Хабаровку, в которой мы с вами во время оно играли на театре, я знаю, как свой пять пальцев, — чудесное имение! и всегда должно приносить прекрасный доход.

— Я вам скажу, как истинному другу, — прервала его бабушка, с грустным выражением, — мне кажется, что всё это отговорки, для того только, чтобы ему жить здесь одному, шлаться по клубам, по обедам и бог знает что делать; а она ничего не подозревает. Вы знаете, какая это ангельская доброта — она ему во всём верит. Он уве-

¹ Ah! мой дорогой (франц.).

² Пьер.

рил её, что детей́ нужно везти́ в Москву́, а ей одной, с глупой гувернанткой, остава́ться в деревне, — она́ поверила; скажи он ей, что детей́ нужно сечь, так же как сечёт своих княгиня Варвара Ильинишна, она́ и тут, ка́жется бы, согласи́лась, — сказа́ла ба́бушка, поворачи́ваясь в своём кресле с ви́дом соверше́нного презре́ния. — Да, мой друг, — продолжа́ла ба́бушка по́сле мину́тного молча́ния, взяв в ру́ки оди́н из двух платко́в, что́бы утере́ть показавшуюся слезу́, — я ча́сто ду́маю, что он не мо́жет ни ценить, ни понима́ть её и что, несмотря́ на всю её доброту́, любовь к нему́ и старание́ скрыть своё горе — я очень хоро́шо зна́ю это, — она́ не мо́жет быть с ним сча́стлива; и помяните моё сло́во, е́сли он не...

Ба́бушка закры́ла лицо́ платко́м.

— Eh, ma bonne amie ¹, — сказа́л князь с упрёком, — я ви́жу, вы ниско́лько не ста́ли благо́разумнее — вечно сокруша́етесь и пла́чете о вообража́емом горе. Ну, как вам не со́вестно? Я его́ давно́ зна́ю, и зна́ю за внима́тельного, до́брого и прекра́сного му́жа и гла́вное — за благо́роднейшего челове́ка, un parfait honnête homme ².

Нево́льно подслу́шав разгово́р, кото́рого мне не до́лжно было́ слу́шать, я на цыпочках и в си́льном волне́нии ви́брался из ко́мнаты.

Глава XIX

ИВИНЫ



— Воло́дя! Воло́дя!
Ивины! — закрича́л я, уви́дев в окно́ трёх ма́льчиков в си́них бекеша́х с бобрóвыми воротника́ми, кото́рые, сле́дуя за молоды́м гуверне́ром-ще́голем, переходя́ли с противополо́ж-

ного тротуа́ра к нашему́ до́му.

Ивины приходя́лись нам ро́дственниками и бы́ли почти́ одних с на́ми лет; вско́ре по́сле прие́зда на́шего в Москву́ мы познако́мились и сошли́сь с ними.

¹ Э, мой до́брый друг (франц.).

² Соверше́нно порядочный челове́к (франц.).

Второй Ивин — Серёжа — был смуглый, курчавый мальчик, со вздернутым твёрдым носиком, очень свежими красными губами, которые редко совершенно закрывали немного выдавшийся верхний ряд белых зубов, тёмно-голубыми прекрасными глазами и необыкновенно бойким выражением лица. Он никогда не улыбался, но или смотрел совершенно серьёзно, или от души смеялся своим звонким, отчётливым и чрезвычайно увлекательным смехом. Его оригинальная красота поразила меня с первого взгляда. Я почувствовал к нему непреодолимое влечение. Видеть его было достаточно для моего счастья; и одно время все силы души моей были сосредоточены в этом желании: когда мне случалось провести дня три или четыре, не видав его, я начинал скучать, и мне становилось грустно до слёз. Все мечты мой, во сне и наяву, были о нём: ложась спать, я желал, чтобы он мне приснился; закрывая глаза, я видел его перед собою и лелеял этот призрак, как лучшее наслаждение. Никому в мире я не решился бы поверить этого чувства, так много я дорожил им. Может быть, потому, что ему надоедало чувствовать беспрестанно устремлёнными на него, мой беспокойные глаза, или просто не чувствуя ко мне никакой симпатии, он заметно больше любил играть и говорить с Володей, чем со мною; но я всё-таки был доволен, ничего не желал, ничего не требовал и всем готов был для него пожертвовать. Кроме страстного влечения, которое он внушал мне, присутствие его возбуждало во мне в не менее сильной степени другое чувство — страх огорчить его, оскорбить чём-нибудь, не понравиться ему: может быть, потому, что лицо его имело надменное выражение, или потому, что, презирая свою наружность, я слишком много ценил в других преимуществе красоты, или, что вернее всего, потому, что это есть непремённый признак любви, я чувствовал к нему столько же страху, сколько и любви. В первый раз, как Серёжа заговорил со мной, я до того растерялся от такого неожиданного счастья, что побледнел, покраснел и ничего не мог отвечать ему. У него была дурная привычка, когда он задумывался, останавливать глаза на одной точке и беспрестанно мигать, подёргивая при этом носом и бровями. Все находил, что эта привычка очень портит его, но я находил её до того милою, что невольно привык делать то же самое, и чрез несколько дней после моего с ним знакомства бабушка спросила:



Бабушка начала читать вслух моё стихотворение.

бабушки, сошёл с нами в палисадник, сел на зелёную скамью, живописно сложил ноги, поставил между ними палку с бронзовым набалдашником и с видом человека, очень довольного своими поступками, закурил сигару.

Нерг Frost был немец, но немец совершенно не того покроя, как наш добрый Карл Иванович: во-первых, он правильно говорил по-русски, с дурным выговором — по-французски и пользовался вообще, в особенности между дамами, репутацией очень учёного человека; во-вторых, он носил рыжие усы, большую рубиновую булавку в чёрном атласном шарфе, концы которого были просунуты под помочи, и светло-голубые панталоны с отливом и соштрипками; в-третьих, он был молод, имел красивую, самодовольную наружность и необыкновенно видные, мускулистые ноги. Замётно было, что он особенно дорожил этим последним преимуществом: считал его действие неотразимым в отношении особ женского пола и, должно быть, с этой целью старался выставлять свои ноги на самое видное место и, стоя или сидя на месте, всегда приводил в движение свои икры. Это был тип молодого русского немца, который хочет быть молодцом и волокитой.

В палисаднике было очень весело. Игра в разбойники шла как нельзя лучше; но одно обстоятельство чуть-чуть не расстроило всего. Серёжа был разбойник: погнавшись за проезжающими, он споткнулся и на всём бегу ударился коленом о дерево, так сильно, что я думал, он расшибётся вдребезги. Несмотря на то, что я был жандарм и моя обязанность состояла в том, чтобы ловить его, я подошёл и с участием стал спрашивать, больно ли ему. Серёжа рассердился на меня: сжал кулаки, топнул ногой и голосом, который ясно доказывал, что он очень больно ушибся, закричал мне:

— Ну, что это? после этого игры никакой нет! Ну, что ж ты меня не любишь? что ж ты меня не любишь? — повторял он несколько раз, икоса поглядывая на Володю и старшего Ивина, которые, представляя проезжающих, припрыгивая, бежали по дорожке, и вдруг взвизгнул и с громким смехом бросился ловить их.

Не могу передать, как порази́л и пленил меня этот геройский поступок: несмотря на страшную боль, он не только не заплакал, но не показal и виду, что ему больно, и ни на минуту не забыл игры.

Вскóре послé этого, когда к нашей компáнии присоеди-
нился ещё Иленька Грап и мы до обéда отпра́вились на
верх, Серёжа имёл слúчай ещё бóльше пленить и пора-
зить меня своим удивительным мýжеством и твёрдостью
харáктера.

Иленька Грап был сын бédного иностранца, котóрый
когда-то жил у моего дéда, был чём-то ему́ обязан и
почитáл тепёрь своим непременным дóлгом присылáть
очень чáсто к нам своего сына. Если он полага́л, что зна-
комство с нами мóжет доставить его́ сыну какую-нибудь
честь или удовóльствие, то он совершénно ошибáлся в
этом отношénии, потому́ что мы не тóлько не были друж-
ны́ с Иленькой, но обращáли на него́ внимáние тóлько
тогда, когда хотéли посмеяться над ним. Иленька Грап
был мáльчик лет тринáдцати, худóй, высóкий, блédный,
с птичьей рóжицей и добродúшно-покóрным выражénием.
Он был очень бédно одёт, но затó всегда́ напóмажен так
обильно, что мы уверя́ли, бóдто у Грапа в солнечный день
пома́да тáст на головé и течёт под кúрточку. Когда́ я те-
пёрь вспоминаю его́, я нахожý, что он был очень услúж-
ливый, тíхий и дóбрый мáльчик; тогда́ же он мне казался
таким презрénным существóm, о котóром не сто́ило ни
жалéть, ни дáже дýмать.

Когда́ игра́ в разбóйники прекрат́илась, мы пошли́ на
верх, нáчали *воз́иться* и шеголя́ть друг перед дру́гом
разными гимнаст́ическими штúками. Иленька с рóбкой
улыбкой удивлénия поглядывал на нас, и когда́ ему́ пред-
лагáли попрóбовать то же, откáзывался, говоря́, что у не-
го́ совсém нет с́илы. Серёжа был удивительно мил; он
снял кúрточку — лицó и глазá его́ разгорéлись, — он бес-
престáнно хохотáл и затéивал нóвые шáлости: перепры́ги-
нул чéрез три сту́ла, поставленные рядом, чéрез всю кóм-
нату перекáтывался колесóm, станов́ился квéрху ногáми
на лексикóны Тат́ищева¹, полóженные им в в́иде пьеде-
стáла на середину кóмнаты, и при этóм выдéлывал ногá-
ми такие уморítельные штúки, что невозмóжно было
удержáться от смéха. Пóсле этóй послéдней штúки он
подумáлся, помигáл глазáми и вдруг с совершénно серь-
ёзным лицóm подошёл к Иленьке: «Попрóбуйте сдéлать
это; прáво, этó нетрудно». Грап, замéтив, что óбщее вни-

¹ Лексикóны Тат́ищева — францúзско-ру́сский словарь
(лексикóн); издавался в концé XVIII и пёрвой чётверти XIX вéка.

мáние обращено на него, покраснел и чуть слышным гóлосом уверял, что он никак не мóжет этого сделать.

— Да что ж в сáмом дэле, отчего он ничегó не хóчет показáть? Что он за дéвочка... непременно náдо, чтóбы он стал нá голову!

И Серёжа взял его зá руку.

— Непременно, непременно нá голову! — закричáли мы все, обступив Иленьку, котóрый в эту мину́ту замéтно испугáлся и побледнел, схватили его зá руку и повлекли к лексикóнам.

— Пустите меня, я сам! кúрточку разорвёте! — кричáла несчастная жёртва. Но эти крики отчáяния ещё бóлее воодушевляли нас; мы помирали со смеху; зелёная кúрточка трещáла на всех швах.

Волóдя и старший Ивин нагнули ему́ гóлову и поставили её на лексикóны; я и Серёжа схватили бédного мáльчика за тóненькие нóги, котóрыми он махáл в рáзные стóроны, засучили ему́ панталóны до колён и с грóмким смéхом вскинули их квёрху; млáдший Ивин поддёрживал равновéсие всего тúловища.

Случилось так, что пóсле шумного смéха мы вдруг все замолчáли, и в кóмнате стáло так тóхо, что слы́шно бýло тóлько тяжёлое дыхáние несчастного Гра́па. В эту мину́ту я не совсём был убеждён, что всё это очень смешно́ и вёсело.

— Вот тепёрь молодёц, — сказа́л Серёжа, хлопнув его́ руко́ю.

Иленька молчáл и, старáясь вёрваться, кидáл нога́ми в рáзные стóроны. Одним из таких отчáянных движéний он удáрил каблукóм по гла́зу Серёжу так бóльно, что Серёжа тóтчас же оста́вил его́ нóги, схватился за глаз, из котóрого потекли нево́льные слёзы, и из всех сил толкну́л Иленьку. Иленька, не бóдучи бóлее поддёрживаем нáми, как чтó-то безжизненное, грóхнулся на зёмлю и от слёз мог тóлько выговорить:

— За что вы меня́ тира́ните?

Плачевна́я фигу́ра бédного Иленьки с запла́канным лицóм, взъерóшенными волосáми и засúченными панталóнами, из-под котóрых видны́ бýли нечи́щенные голени́ща, порази́ла нас; мы все молчáли и старáлись принуждённо улыба́ться.

Пе́рвый опóмнился Серёжа.

— Вот баба, няня,— сказа́л он, слегка́ трогая его́ ного́ю,— с ним шути́ть нельзя́... Ну, по́лно, встава́йте.

— Я вам сказа́л, что ты негодный мальчи́шка,— зло́бно вы́говорил Иленька и, отверну́вшись прочь, гро́мко за́рыда́л.

— А-а! каблукáми бить да ещё брани́ться!— закрича́л Серёжа, схватив в ру́ки лексико́н и взмахну́в над голово́ю несча́стного, кото́рый и не ду́мал защища́ться, а то́лько закрыва́л рука́ми го́лову.

— Вот тебе́! вот тебе́!.. Бро́сим его́, ко́ли он шу́ток не понима́ет... Пойде́мте вниз,— сказа́л Серёжа, неесте́ственно засмея́вшись.

Я с уча́стием посмотре́л на бедня́жку, кото́рый, ле́жа на полу́ и спря́тав лицо́ в лексико́нах, пла́кал так, что, ка́зало́сь, ещё́ немно́го и он умре́т от конву́льсий¹, кото́рые де́ргали всё его́ те́ло.

— Э, Серге́й! — сказа́л я ему́,— заче́м ты это́ сде́лал?

— Вот хорошо́!.. я не запла́кал, наде́юсь, се́годня, как разби́л себе́ но́гу почти́ до ко́сти.

«Да, это́ пра́вда,— подумáл я.— Иленька бо́льше ниче́го, как пла́кса, а вот Серёжа — так это́ молоде́ц... что это́ за молоде́ц!..

Я не сообрази́л того́, что бедня́жка пла́кал, ве́рно, не сто́лько от физи́ческой бо́ли, ско́лько от той мы́сли, что пять ма́льчиков, кото́рые, мо́жет быть, нра́вились ему́, без вся́кой причи́ны, все согласи́лись ненави́деть и гнать его́.

Я реши́тельно не могу́ объясни́ть себе́ жестокости́ сво́его́ посту́пка. Как я не подоше́л к нему́, не защити́л и не утёшил его́? Куда́ дева́лось чу́вство сострада́ния, заставля́вшее меня́, бывáло, пла́кать навзры́д при ви́де выбро́шенного из гнезда́ галчо́нка или щенка́, кото́рого несúт, что́бы кинуть за забóр, или ку́рицы, кото́рую несёт пова́рёнок для супа́?

Неужели́ это́ прекра́сное чу́вство бы́ло заглуше́но во мне любоб́ью к Серёже и жела́нием казаться́ перед ним та́ким же молодцо́м, как и он сам? Незавидные́ же бы́ли эти́ любоб́вь и жела́ние казаться́ молодцо́м! Онí произведе́ли еди́нственные те́мные пятна́ на страница́х мо́их де́тских воспомина́ний.

¹ Конву́льсии — сильные судороги.

СОБИРАЮТСЯ ГОСТИ



Судя по особенной хлопотливости, заметной в буфете, по яркому освещению, придававшему какой-то новый, праздничный вид всем уже мне давно знакомым предметам в гостиной и зале, и в особенности судя по тому, что недаром же прислал князь Иван Иванович свою музыку, ожидалось немалое количество гостей к вечеру.

При шуме каждого мимо ехавшего экипажа я подбегал к окну, приставлял ладони к вискам и стеклу и с нетерпеливым любопытством смотрел на улицу. Из мрака, который сперва скрывал все предметы в окне, показались понемногу: напротив — давно знакомая лавочка, с фонарем, наискось — большой дом с двумя внизу освещёнными окнами, середине улицы — какой-нибудь *васька*¹ с двумя седоками или пустая коляска, шагом возвращающаяся домой; но вот к крыльцу подъехала карета, и я, в полной уверенности, что это Ивины, которые обещались приехать рано, бегу встречать их в переднюю. Вместо Ивиных за ливрейной рукой², отворившей дверь, показались две особы женского пола: одна — большая, в сийем салопе³ с собольим воротником, другая — маленькая, вся закутанная в зелёную шаль, из-под которой виднелись только маленькие ножки в меховых ботинках. Не обращая на моё присутствие в передней никакого внимания, хотя я счёл долгом при появлении этих особ поклониться им, маленькая молча подошла к большой и остановилась перед нею. Большая размотала платок, закрывавший всю голову маленькой, расстегнула на ней салоп, и когда ливрейный лакей получил эти вещи под сохранение и снял с неё меховые ботинки, из закутанной особы вышла чудесная двенадцатилетняя девочка в коротеньком открытом кисейном платьице, белых панталончиках и кро-

¹ Васька — прозвище извозчиков в прошлом веке.

² Ливрейная рука — рука слуги, одетого в ливрею, парадную одежду слуги.

³ Салоп — верхняя женская одежда.

шечных чёрных башмачках. На бёленькой шейке была чёрная бархатная ленточка; головка вся была в тёмно-русых кудрях, которые спереди так хорошо шли к её прекрасному личику, а сзади — к голым плечикам, что никому, даже самому Карлу Ивановичу, — я не поверил бы, что они выются так оттого, что с утра были завернуты в кусочки «Московских ведомостей» и что их прижигали горячими железными щипцами. Кажалось, она так и родилась с этой курчавой головкой.

Поразительной чертой в её лице была необыкновенная величина выпуклых полузакрытых глаз, которые составляли странный, но приятный контраст с крошечным ротиком. Губки были сложены, а глаза смотрели так серьёзно, что общее выражение её лица было такое, от которого не ожидаешь улыбки и улыбка которого бывает тем обворожительнее.

Стараясь быть незамеченным, я шмыгнул в дверь залы и пошёл нужным прохаживаться взад и вперёд, притворившись, что нахожусь в задумчивости и совсем не знаю о том, что приехали гости. Когда гости вышли на половину залы, я как будто опомнился, расшаркался и объявил им, что бабушка в гостиной. Г-жа Валехина, лицо которой мне очень понравилось, в особенности потому, что я нашёл в нём большое сходство с лицом её дочери Сонечки, благосклонно кивнула мне головой.

Бабушка, казалась, была очень рада видеть Сонечку: подозвала её ближе к себе, поправила на голове её одну буслю, которая спадывала на лоб, и пристально всматриваясь в её лицо, сказала: «Quelle charmante enfant!»¹ Сонечка улыбнулась, покраснела и сделалась так мила, что я тоже покраснел, глядя на неё.

— Надеюсь, ты не будешь скучать у меня, мой дружок, — сказала бабушка, приподняв её личико за подбородок, — прошу же веселиться и танцевать как можно больше. Вот уж и есть одна дама и два кавалера, — прибавила она, обращаясь к г-же Валехиной и дотрагиваясь до меня рукою.

Это сближение было мне так приятно, что заставило покраснеть ещё раз.

Чувствуя, что застенчивость моя увеличивается, и услышав шум ещё подъехавшего экипажа, я пошёл нуж-

¹ «Какой очаровательный ребёнок!» (франц.)

ным удалиться. В передней нашёл я княгиню Корнакову с сыном и невероятным количеством дочерей. Дочери все были на одно лицо — похожи на княгиню и дурны; поэтому ни одна не останавливала внимания. Снимая сапоги и хвосты¹, они все вдруг говорили тоненькими голосками, суегились и смеялись чему-то — должно быть, тому, что их было так много.

Этьен был мальчик лет пятнадцати, высокий, мясистый, с испитой физиономией, впалыми, посинелыми впазу глазами и с огромными по летам руками и ногами; он был неуклюж, имел голос неприятный и неровный, но казался очень довольным собою и был точно таким, каким мог быть, по моим понятиям, мальчик, которого секут розгами.

Мы довольно долго стояли друг против друга и, не говоря ни слова, внимательно всматривались; потом, подвинувшись поближе, кажется, хотели поцеловаться, но, посмотрев ещё в глаза друг другу, почему-то раздумали. Когда платья всех сестёр его прошумели мимо нас, чтобы чём-нибудь начать разговор, я спросил, не тесно ли им было в карете.

— Не знаю, — отвечал он мне небрежно, — я ведь никогда не езжу в карете, потому что, как только я сяду, меня сейчас начинает тошнить, и маменька это знает. Когда мы едем куда-нибудь вечером, я всегда сажусь на козлы — гораздо веселей — всё видно, Филипп даёт мне править, иногда и кнут я беру. Этак проезжающих, знаете, иногда, — прибавил он с выразительным жестом, — прекрасно!

— Ваше сиятельство, — сказал лакей, входя в переднюю, — Филипп спрашивает: куда вы кнут изволили деть?

— Как куда дел? да я ему отдал.

— Он говорит, что не отдавали.

— Ну, так на фонарь повесил.

— Филипп говорит, что и на фонаре нет, а вы скажите лучше, что взяли да потеряли, а Филипп будет из своих денежек отвечать за ваше баловство, — продолжал, всё более и более воодушевляясь, раздосадованный лакей.

Лакей, который с виду был человек почтенный и угрюмый, казалось, горячо принимал сторону Филиппа и был намерен во что бы то ни стало разъяснить это дело. По

¹ Хвосты — здесь: род меховых горжеток, которыми закрывали шею.

невольному чувству деликатности, как будто ничего не замечая, я отошёл в сторону; но присутствующие лакёи поступили совсем иначе: они подступили ближе, с одобрением поглядывая на старого слугу.

— Ну, потерял так потерял, — сказал Этьен, уклоняясь от дальнейших объяснений, — что стоит ему кнут, так я и заплачу. Вот умирительно! — прибавил он, подходя ко мне и увлекая меня в гостиную.

— Нет, позвольте, барин, чём-то вы заплатите? знаю я, как вы платите: Марье Васильевне вот уж вы восьмой месяц двугривенный всё платите, мне тоже уж, кажется, второй год, Петрушке...

— Замолчишь ли ты! — крикнул молодой князь, поблещав от злости. — Вот я всё это скажу.

— Всё скажу, всё скажу! — проговорил лакей. — Нехорошо, ваше сиятельство! — прибавил он особенно разительно в то время, как мы входили в залу, и пошёл с салопами к ларю.

— Вот так, так! — послышался за нами чей-то одобрительный голос в передней.

Бабушка имела особенный дар, прилагая с известным тоном и в известных случаях множественные и единственные местоимения второго лица, высказывать своё мнение о людях. Хотя она употребляла *вы* и *ты* наоборот общепринятому обычаю, в её устах эти оттенки принимали совсем другое значение. Когда молодой князь подошёл к ней, она сказала ему несколько слов, называя его *ты*, и взглянула на него с выражением такого пренебрежения, что, если бы я был на его месте, я растерялся бы совершенно; но Этьен был, как видно, мальчик не такого сложения: он не только не обратил никакого внимания на приём бабушки, но даже и на всю её особу, а раскланялся всему обществу если не ловко, то совершенно развязно. Сонечка занимала всё моё внимание: я помню, что когда Володя, Этьен и я разговаривали в зале на таком месте, с которого видна была Сонечка и она могла видеть и слышать нас, я говорил с удовольствием; когда мне случалось сказать, по моим понятиям, смешное или молодёцкое словцо, я произносил его громче и оглядывался на дверь в гостиную; когда же мы перешли на другое место, с которого нас нельзя было ни слышать, ни видеть из гостиной, я молчал и не находил больше никакого удовольствия в разговоре.

Гостѣйна и зала понемногу наполнялись гостями; в числѣ их, как и всегда бываѣтъ на дѣтских вечерахъ, было нѣсколько большихъ дѣтей, которые не хотѣли пропустить случая повеселиться и потанцевать, как будто для того только, чтобы сдѣлать удовольствіе хозяйке дома.

Когда приѣхали Ивины, вмѣсто удовольствія, которое я обыкновенно испытывал при встрѣчѣ с Серёжей, я почувствовал какую-то странную досаду на него за то, что он увидит Сонечку и покажется ей.

Глава XXI

ДО МАЗУРКИ



— Э! да у вас, видно, будут танцы, — сказал Серёжа, выходя из гостиной и доставая из кармана новую пару лайковых перчаток, — надо перчатки надевать.

«Как же быть? а у нас перчаток-то нет, — подумал я, — надо пойти наверх — поискать».

Но хотя я перерыл все комоды, я нашёл только в одном — наши дорожные зелёные рукавицы, а в другом — одну лайковую перчатку, которая никак не могла годиться мне: во-первых, потому, что была чрезвычайно стара и грязна, во-вторых, потому, что была для меня слишком велика, а главное, потому, что на ней недоставало среднего пальца, отрезанного, должно быть, ещё очень давно, Карлом Ивановичем для больной руки. Я надѣл, однако, на руку этот остаток перчатки и пристально рассматривал то место среднего пальца, которое всегда было замазано чернилами.

— Вот если бы здесь была Наталья Савишна: у неё, вѣрно бы, нашлись и перчатки. Вниз идти нельзя в таком виде, потому что если меня спросят, отчего я не танцую, что мне сказать? и здесь оставаться тоже нельзя, потому что меня непременно хватят. Что мне дѣлать? — говорил я, размахивая руками.

— Что ты здесь делаешь? — сказал вбежавший Володя, — иди ангажируй¹ даму... сейчас начнётся.

¹ Ангажировать — пригласить; здесь: пригласить танцевать.

— Волóдя,— сказа́л я ему́, показывая ру́ку с двумя просу́нутыми в грязную перча́тку па́льцами, го́лосом, выража́вшим положение, близкое к отча́янию,— Волóдя, ты и не подумал об э́том!

— О чём? — сказа́л он с нетерпéнием.— А! о перча́тках,— прибавил он совершенно равноду́шно, замéтив мою ру́ку,— и то́чно нет; на́до спроси́ть у ба́бушки... что она́ ска́жет? — и, нимало не задумавшись, побежа́л вниз.

Хладнокрóбие, с кото́рым он отзыва́лся об обстоя́тельстве, казавшемся мне столь ва́жным, успоко́ило меня́, и я поспеши́л в гости́ную, совершенно позабыв об уродливой перча́тке, кото́рая была́ надéта на моёй ле́вой руке́.

Осторо́жно подойдя́ к крэ́слу ба́бушки и слегка́ дотра́гиваясь до её ма́нтии, я шёпотом сказа́л ей:

— Ба́бушка! что нам де́лать? у нас перча́ток нет!

— Что, мой друг?

— У нас перча́ток нет,— повтори́л я, подвига́ясь ближе́ и ближе́ и положи́в обе́ руки́ на ру́чку крэ́сел.

— А э́то что,— сказа́ла она́, вдруг схвати́в меня́ за ле́вую ру́ку.— *Vous, ma chère*¹,— продолжа́ла она́, обраща́ясь к г-же Вала́хиной,— *vous comme ce jeune homme s'est fait élégant pour danser avec votre fille*².

Ба́бушка крэ́пко держа́ла меня́ за́ руку и серьёзно, но вопроси́тельно посма́тривала на прису́тствующих до тех пор, пока́ любопы́тство всех гости́й бы́ло удовлетво́рено́ и смех сде́лался о́бщим.

Я был бы о́чень огорчён, е́сли бы Серёжа ви́дел меня́ в то вре́мя, как я, сморщившись от стыда́, напрáсно пыта́лся вы́рвать свою́ ру́ку, но перед Со́нечкой, кото́рая до того́ расхохота́лась, что слёзы наверну́лись ей на глаза́ и все кудря́шки распры́гались о́коло её раскрасне́вшегося ли́чика, мне ниско́лько не́ было со́вестно. Я по́нял, что смех её был сли́шком грóмок и естéствен, чтоб быть на-смéшливым; напрóтив, то, что мы посмея́лись вме́сте и глядя́ друг на дру́га, как бу́дто сблизило́ меня́ с не́ю. Эпи́зод с перча́ткой, хотя́ и мог ко́нчиться ду́рно, принёс мне ту по́льзу, что поста́вил меня́ на свобо́дную но́гу в кругу́, кото́рый ка́зался мне всегда́ са́мым стра́шным,— в кругу́ гости́ной; я не чу́ствовал уже́ ни малéйшей застéнчивости́ в за́ле.

¹ Посмотрите, моя дорогая (*франц.*).

² Посмотрите, каким элеган́тным сде́лал себя́ э́тот молодóй человек, чтобы́ танцева́ть с ва́шей дóчерью (*франц.*).

Страдание людей застенчивых происходит от неизвѣстности о мнѣнии, которое о них составили; как только мнѣние это ясно выражено — какое бы оно ни было, — страдание прекращается.

Что это как мила была Сѳнечка Валѳхина, когда она прѳтив меня танцевала французскую кадрийль с неуклюжим молодым князем! Как мило она улыбалась, когда в «саше» подавала мне ручку! как мило, в такт прыгали на головке еѳ русые кудри, и как наивно делала она «jeté-assemblé»¹ своими крошечными ножками! В пятой фигуре, когда моя дама перебежала от меня на другую сторону и когда я, выжидая такт, приготовлялся делать собою, Сѳнечка серьёзно сложила губки и стала смотреть в сторону. Но напрасно она за меня боялась: я смело сделал *chassé en avant*, *chassé en arriére*, *glissade*² и, в то время как подходил к ней, игривым движением показал ей перчатку с двумя торчавшими пальцами. Она расхохоталась ужасно и ещё милее засеменяла ножками по паркету. Ещё помню я, как, когда мы делали круг и все взяли за руки, она нагнула головку и, не вынимая своей руки из моей, почесала носик о свою перчатку. Всё это как теперь перед моими глазами, и ещё слышится мне кадрийль из «Дѳвы Дунѳя», под звуки которой всё это происходило.

Наступила и вторая кадрийль, которую я танцевал с Сѳнечкой. Усѳвшись рядом с нею, я почувствовал чрезвычайную нелѳвкость и решительно не знал, о чём с ней говорить. Когда молчание моѳ сделалось слишком продолжительно, я стал бояться, чтобы она не приняла меня за дурака, и решился во что бы то ни стало вывести еѳ из такого заблуждения на мой счёт. «Vous êtes une habitante de Moscou?»³ — сказал я ей и после утвердительно-го ответа продолжал: — Et moi, je n'ai encore jamais fréquenté la capitale»⁴, — рассчитывая в особенности на эффект слова «frequenter»⁵. Я чувствовал, однако, что, хотя это начало было очень блестяще и вполне доказывало моѳ высокое знанье французского языка, продолжать разговор в таком духе я не в состоянии. Ещё не скоро

¹ Шен, жетэ, ассамблэ — фигуры в танце.

² Шассэ-ан-аван, шассэ-ан-арьер, глиссад — фигуры в танце.

³ Вы постоянно живѳте в Москвѳ? (франц.).

⁴ А я ещё никогда не посещал столицы (франц.).

⁵ Посещать (франц.).

должен был прийти наш черёд танцевать, а молчание возобновилось: я с беспокойством поглядывал на неё, желая знать, какое произвёл впечатление, и ожидая от неё помощи. «Где вы нашли такую уморительную перчатку?» — спросила она меня вдруг; и этот вопрос доставил мне большое удовольствие и облегчение. Я объяснил, что перчатка принадлежала Карлу Ивановичу, распространился, даже несколько иронически, о самой особе Карла Ивановича, о том, какой он бывает смешной, когда снимает красную шапочку, и о том, как он раз в зелёной бекеше упал с лошади — прямо в лужу, и т. п. Кадриль прошла незаметно. Всё это было очень хорошо; но зачем я с насмешкой отзывался о Карле Ивановиче? Неужели я потерял бы доброе мнение Сонечки, если бы я описал ей его с теми любовью и уважением, которые я к нему чувствовал?

Когда кадриль кончилась, Сонечка сказала мне «тегси»¹ с таким милым выражением, как будто я действительно заслужил её благодарность. Я был в восторге, не помнил себя от радости и сам не мог узнать себя: откуда взялись у меня смелость, уверенность и даже дерзость? «Нет вещи, которая бы могла меня сконфузить! — думал я, беззаботно разгуливая по залу, — я готов на всё!»

Серёжа предложил мне быть с ним vis-à-vis². «Хорошо, — сказал я, — хотя у меня нет дамы, я найду». Окинув залу решительным взглядом, я заметил, что все дамы были взяты, исключая одной большой девицы, стоявшей у двери гостиной. К ней подходил высокий молодой человек, как я заключил, с целью пригласить её; он был от неё в двух шагах, я же — на противоположном конце залы. В мгновение ока, грациозно скользя по паркёту, пролетел я всё разделяющее меня от неё пространство и, шаркнув ногой, твёрдым голосом пригласил её на контрданс. Большая девица, покровительственно улыбаясь, подала мне руку, а молодой человек остался без дамы.

Я имел такое сознание своей силы, что даже не обратил внимания на досаду молодого человека; но после узнал, что молодой человек этот спрашивал, кто тот взъёрщенный мальчик, который проскочил мимо его и перед носом отнял даму.

¹ Благодарю (франц.).

² Визави — напротив.

МАЗУРКА



Молодой человек, у которого я отбил даму, танцевал мазурку в первой паре. Он вскочил с своего места, держа даму за руку, и вместо того, чтобы делать «pas de Basques»¹, которым нас учила Мимми, просто побежал вперед; добежав до угла, приостановился, раздвинул ноги, стукнул каблук, повернулся и, прыгивая, побежал дальше.

Так как дамы на мазурку у меня не было, я сидел за высоким креслом бабушки и наблюдал.

«Что же он это делает? — рассуждал я сам с собою. — Ведь это вовсе не то, чему учила нас Мимми: она уверяла, что мазурку все танцуют на цыпочках, плавно и кругообразно разводя ногами; а выходит, что танцуют совсем не так. Вон и Ивины, и Этьен, и все танцуют, а pas de Basques не делают; и Володя наш перенял новую манеру. Недурно!.. А Сонечка-то какая милочка?! вон она пошла...» Мне было чрезвычайно весело.

Мазурка клонилась к концу: несколько пожилых мужчин и дам подходили прощаться с бабушкой и уезжали; лакеи, избегая танцующих, осторожно проносили приборы в задние комнаты; бабушка заметно устала, говорила как бы нехотя и очень протяжно: музыканты в тридцатый раз лениво начинали тот же мотив. Большая девица, с которой я танцевал, делая фигуру, заметила меня и, предательски улыбнувшись, — должно быть, желая тем угодить бабушке, — подвела ко мне Сонечку и одну из бесчисленных княжон. «Rose ou hortie?»² — сказала она мне.

— А, ты здесь! — сказала, поворачиваясь в своем кресле, бабушка. — Иди же, мой дружок, иди.

Хотя мне в эту минуту больше хотелось спрятаться с головой под кресло бабушки, чем выходить из-за него, как было отказать? — я встал, сказал «госе» и робко

¹ Па-де-баск — старинное па мазурки (франц.).

² «Роза или крапива?» (франц.).

взглянул на Сбнечку. Не успел я опомниться, как чья-то рука в белой перчатке очутилась в моей и княжна с приятнейшей улыбкой пустилась вперед, нисколько не подозревая того, что я решительно не знал, что делать с своими ногами.

Я знал, что pas de Basques неуместны, неприличны и даже могут совершенно осрамить меня; но знакомые звуки мазурки, действуя на мой слух, сообщили известное направление акустическим нервам, которые, в свою очередь, передали это движение ногам; и эти последние, совершенно невольно и к удивлению всех зрителей, стали выделывать фатальные¹ круглые и плавные па на цыпочках. Покуда мы шли прямо, дело еще шло кое-как, но на повороте я заметил, что если не приму своих мер, непременно уйду вперед. Во избежание такой неприятности, я приостановился, с намерением сделать то самое колэнце, которое так красиво делал молодой человек в черной паре. Но в ту самую минуту, как я раздвинул ноги и хотел уже припрыгнуть, княжна, торопливо обегая вокруг меня, с выражением тупого любопытства и удивления посмотрела на мои ноги. Этот взгляд убил меня. Я до того растерялся, что, вместо того, чтобы танцевать, затопал ногами на месте, самым странным, ни с тактом, ни с чем несообразным образом, и, наконец, совершенно остановился. Все смотрели на меня: кто с удивлением, кто с любопытством, кто с насмешкой, кто с состраданием; одна бабушка смотрела совершенно равнодушно.

— Il ne fallait pas danser, si vous ne savez pas!² — сказал сердитый голос папы над моим ухом, и, слегка оттолкнув меня, он взял руку моей дамы, прошел с ней тур по-старинному, при громком одобрении зрителей, и привел ее на место. Мазурка тотчас же кончилась.

«Господи! За что ты наказываешь меня так ужасно!»

Все презирают меня и всегда будут презирать... мне закрыта дорога ко всему! к дружбе, любви, почестям... всё пропало! Зачем Володя делал мне знаки, которые все видели и которые не могли помочь мне? зачем эта противная княжна так посмотрела на мои ноги? зачем Сбнечка... она милочка; но зачем она улыбалась в это время? зачем папа покраснел и схватил меня за руку? Не-

¹ Фатальные — роковые, злополучные.

² Не нужно было танцевать, если не умеешь! (франц.)

ужели даже ему было стыдно за меня? О, это ужасно! Вот будь тут мамаша, она не покраснела бы за своего Николеньку... И моё воображение унеслось далеко за этим милым образом. Я вспоминал луг перед домом, высокие липы сада, чистый пруд, над которым высятся ласточки, синее небо, на котором остановились белые прозрачные тучи, пахучие копны свежего сена, и ещё много спокойных радужных воспоминаний носилось в моём расстроенном воображении.

Глава XXIII

ПОСЛЕ МАЗУРКИ



За ужином молодой человек, танцевавший в первой паре, сел за наш, детский стол и обращал на меня особое внимание, что немало польстило бы моему самолюбию, если бы я мог, после случившегося со мной несчастья, чувствовать что-нибудь. Но молодой человек, как кажется, хотел во что бы то ни стало развеселить меня: он заигрывал со мной, называл меня молодцом и, как только никто из больших не смотрел на нас, подливал мне в рюмку вина из разных бутылок и непременно заставлял выпивать. К концу ужина, когда дворецкий налил мне только четверть бокальчика шампанского из завернутой в салфетку бутылки и когда молодой человек настоял на том, чтобы он налил мне полный, и заставил меня его выпить залпом, я почувствовал приятную теплоту по всему телу, особенную приятность к моему веселому покровителю и чему-то очень расхохотался.

Вдруг раздалась из залы звюки гротфатера¹, и стали вставать из-за стола. Дружба наша с молодым человеком тотчас же и кончилась: он ушёл к большим, а я, не смея следовать за ним, подошёл, с любопытством, прислушиваясь к тому, что говорила Валахина с дочерью.

¹ Гротфатер — старинный танец с медленными, плавными движениями, который танцевали и старики. «Гротфатер» по-немецки «дедушка».

— Ещё полчасика,— убедительно говорила Сбнечка.

— Право, нельзя, мой ангел.

— Ну для меня, пожалуйста,— говорила она ласкаясь.

— Ну разве тебе весело будет, если я завтра буду больна? — сказала г-жа Валахина и имела неосторожность улыбнуться.

— А, повболлила! останемся? — заговорила Сбнечка, прыгая от радости.

— Что с тобой делать? Иди же, танцуй... вот тебе и кавалер,— сказала она, указывая на меня.

Сбнечка подала мне руку, и мы побежали в залу.

Выпитое вино, присутствие и веселость Сбнечки заставили меня совершенно забыть несчастное приключение мазурки. Я выделявал ногами самые забавные штуки: то, подражая лошади, бежал маленькой рысцой, гордо поднимая ноги, то топотал ими на месте, как баран, который сердится на собаку, при этом хохотал от души и несколько не заботился о том, какое впечатление произвожу на зрителей. Сбнечка тоже не переставала смеяться: она смеялась тому, что мы кружились, взявшись рука за руку, хохотала, глядя на какого-то старого барина, который, медленно поднимая ноги, перешагнул через платок, покаявая вид, что ему было очень трудно это сделать, и помирала со смеху, когда я вспрыгивал чуть не до потолка, чтобы показать свою ловкость.

Проходя через бабушкин кабинет, я взглянул на себя в зеркало: лицо было в поту, волосы растрепаны, вихры торчали больше чем когда-нибудь; но общее выражение лица было такое веселое, доброе и здоровое, что я сам себе понравился.

«Если бы я был всегда такой, как теперь,— подумал я,— я бы ещё мог понравиться».

Но когда я опять взглянул на прекрасное личико моей дамы, в нём было, кроме того выражения веселости, здоровья и беззаботности, которое понравилось мне в моём, столько изящной и нежной красоты, что мне сделалось досадно на самого себя, я понял, как глупо мне надеяться обратить на себя внимание такого чудесного создания.

Я не мог надеяться на взаимность, да и не думал о ней: душа моя и без того была преисполнена счастьем. Я не понимал, что за чувство любви, наполнявшее мою душу отрадой, можно было бы требовать ещё большего счастья и желать чего-нибудь, кроме того, чтобы чувство

это никогда не прекращалось. Мне и так было хорошо. Сердце билось, как голубь, кровь беспрестанно прилиwała к нему, и хотелось плакать.

Когда мы проходили по коридору, мимо тёмного чулана под лестницей, я взглянул на него и подумал: «Что бы это было за счастье, если бы можно было весь век прожить с ней в этом тёмном чулане! и чтобы никто не знал, что мы там живём».

— Не правда ли, что нынче очень весело? — сказал я тихим, дрожащим голосом и прибавил шагу, испугавшись не столько того, что сказал, сколько того, что намерен был сказать.

— Да... бочены! — отвечала она, обратив ко мне голову, с таким откровенно-добрим выражением, что я перестал бояться.

— Особенно после ужина... Но если бы вы знали, как мне жалко (я хотел сказать грустно, но не посмел), что вы скоро уедете и мы больше не увидимся.

— Отчего же не увидимся? — сказала она, пристально всматриваясь в кончики своих башмачков и проводя пальчиком по решётчатым ширмам, мимо которых мы проходили, — каждый вторник и пятницу мы с мамашей ездим на Тверской. Вы разве не ходите гулять?

— Непременно будем проситься во вторник, и если меня не пустят, я один убегу — без шапки. Я дорогу знаю.

— Знаете что? — сказала вдруг Сонечка, — я с одними мальчиками, которые к нам ездят, всегда говорю *ты*; дайте и с вами говорить *ты*. Хочешь? — прибавила она, встряхнув головкой и взглянув мне прямо в глаза.

В это время мы входили в залу, и начиналась другая, живая часть гротфатера.

— Давай... те, — сказал я в то время, когда музыка и шум могли заглушить мой слова.

— Давай *ты*, а не дайте, — поправила Сонечка и засмеялась.

Гротфатер кончился, а я не успел сказать ни одной фразы с *ты*, хотя не переставал придумывать такие, в которых местоимение это повторялось бы несколько раз. У меня недоставало на это смелости. «Хочешь?», «давай *ты*» звучало в моих ушах и производило какое-то опьянение: я ничего и никого не видал, кроме Сонечки. Видал я, как подобрали её локоны, заложили их за уши и открыли части лба и висков, которых я не видал ещё; ви-

дел я, как укутали её в зелёную шаль, так плотно, что виднелся только кончик её носика; заметил, что если бы она не сделала своими розовенькими пальчиками маленького отверстия около рта, то непременно бы задохнулась, и видел, как она, спускаясь с лестницы за своей матерью, быстро повернулась к нам, кивнула головкой и исчезла за дверью.

Володя, Ивины, молодой князь, я, мы все были влюблены в Сонечку и, стоя на лестнице, провожали её глазами. Кому в особенности кивнула она головкой, я не знаю, но в ту минуту я твёрдо был убеждён, что это сделано было для меня.

Прощаясь с Ивиными, я очень свободно, даже несколько холодно поговорил с Серёжей и пожал ему руку. Если он понял, что с нынешнего дня потерял мою любовь и свою власть надо мною, он, верно, пожалел об этом, хотя и старался казаться совершенно равнодушным.

Я в первый раз в жизни изменил в любви и в первый раз испытал сладость этого чувства. Мне было отрудно переменить изношенное чувство привычной преданности на свежее чувство любви, исполненной таинственности и неизвестности. Сверх того, в одно и то же время разлюбить и полюбить — значит полюбить вдвое сильнее, чем прежде.

Глава XXIV

В ПОСТЕЛИ



«Как мог я так страстно и так долго любить Серёжу? — рассуждал я, лёжа в постели. — Нет! он никогда не понимал, не умел ценить и не стоил моей любви... а

Сонечка? что это за прелесть! «Хочешь?», «тебе начинать».

Я вскочил на четвереньки, живо представляя себе её личико, закрыл голову одеялом, подвернул его под себя со всех сторон и, когда нигде не осталось отверстий, улёгся и, ощущая приятную теплоту, погрузился в сладкие мечты и воспоминания. Устремив неподвижные взоры в подкладку стёганого одеяла, я видел её так же ясно, как час тому назад; я мысленно разговаривал с нею, и разговор этот, хотя не имел ровно никакого смысла, до-

ставлял мне неописанное наслаждение, потому что ты, тебе, с тобой, твой встречались в нём беспрестанно.

Мечты эти были так ясны, что я не мог заснуть от сладостного волнения и мне хотелось поделиться с кем-нибудь избытком своего счастья.

— Милочка! — сказал я почти вслух, круто поворачиваясь на другой бок. — Володя! ты спишь?

— Нет, — отвечал он мне сонным голосом, — а что?

— Я влюблён, Володя! решительно влюблён в Сонечку.

— Ну так что ж? — отвечал он мне потягиваясь.

— Ах, Володя! ты не можешь себе представить, что со мной делается... вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно, так ясно видел её, разговаривал с ней, что это просто удивительно. И ещё знаешь ли что? когда я лежу и думаю о ней, бог знает отчего делается грустно и ужасно хочется плакать.

Володя пошевелился.

— Только одного я бы желал, — продолжал я, — это — чтобы всегда с ней быть, всегда её видеть, и больше ничего. А ты влюблён? признайся по правде, Володя.

Странно, что мне хотелось, чтобы все были влюблёны в Сонечку и чтобы все рассказывали это.

— Тебе какое дело? — сказал Володя, поворачиваясь ко мне лицом, — может быть.

— Ты не хочешь спать, ты притворялся! — закричал я, заметив по его блестящим глазам, что он несколько не думал о сне, и откинул одеяло. — Давай лучше толковать о ней. Не правда ли, что прелесть?.. такая прелесть, что, скажи она мне: «Николаша! выпрыгни в окно или бросься в огонь», ну, вот, клянусь! — сказал я, — сейчас прыгну, и с радостью. Ах, какая прелесть! — прибавил я, живо воображая её перед собою, и, чтобы вполне насладиться этим образом, порывисто перевернулся на другой бок и заснул голову под подушки. — Ужасно хочется плакать, Володя.

— Вот дурак! — сказал он, улыбаясь, и потом, помолчав немного: — Я так совсем не так, как ты: я думаю, что если бы можно было, я сначала хотел бы сидеть с ней рядом и разговаривать...

— А! так ты тоже влюблён? — перебил я его.

— Потом, — продолжал Володя, нежно улыбаясь, — потом расцеловал бы её пальчики, глазки, губки, носик, ножки — всю бы расцеловал...

— Глу́пости! — закрича́л я из-под поду́шек.

— Ты ниче́го не понима́ешь,— презри́тельно сказа́л Воло́дя.

— Нет, я понима́ю, а вот ты не понима́ешь и говори́шь глу́пости,— сказа́л я сквозь слёзы.

— То́лько пла́кать-то уж не́зачем. Настоя́щая де́вочка!

Глава XXV

ПИСЬМО



Шестна́дцатого апре́ля, почти́ шесть ме́сяцев по́сле опи́санного мно́ю дня, оте́ц воше́л к нам на верх, во вре́мя кла́ссов, и объ́явил, что ны́нче в ночь мы е́дем с ним в дере́вню.

Что́-то заще́мло у ме́ня в се́рдце при э́том извё́стии, и мысль моя́ то́тчас же обрати́лась к ма́тушке.

Причи́ною тако́го неожида́нного отъе́зда бы́ло сле́дующее пи́сьмо:

Петро́вское, 12 апре́ля.

«Сейча́с то́лько, в де́сять часо́в ве́чера, получи́ла я твоё до́брое пи́сьмо, от 3 апре́ля, и, по моёй всегда́шней приви́чке, отвеча́ю то́тчас же. Фе́дор привёз его́ ещё вче́ра из го́рода, но так как бы́ло по́здно, он по́дал его́ Мими́ ны́нче у́тром. Мими́ же, под предло́гом, что я была́ нездо́рова и расстро́ена, не дава́ла мне его́ це́лый день. У меня́ то́чно был ма́ленький жар, и, призна́ться тебе́ по пра́вде, вот уж четве́ртый день, что я не та́к-то здо́рова и не встаю́ с постёли.

Пожа́луйста, не пуга́йся, ми́лый друг: я чу́вствую себя́ дово́льно хоро́шо и, е́сли Ива́н Васи́льевич позво́лит, за́втра ду́маю вста́ть.

В пя́тницу на про́шлой неде́ле я пое́хала с детьмí ка́таться; но по́дле са́мого въе́зда на большо́ую доро́гу о́коло того́ мо́стика, кото́рый всегда́ наводи́л на меня́ у́жас, ло́шади завя́зли в грязí. День был пре́красный, и мне взду́малось пройти́сь пешко́м до большо́й доро́ги, поку́да вы́таскивали ко́ляску. Дойдя́ до часо́вни, я о́чень уста́ла и се́ла отдохну́ть, а так как, поку́да собира́лись лю́ди, чтоб

вѣтшать экипаж, прошлѣ около получаса, мне стало холодно, особенно ногам, потому что на мне были ботинки на тонких подошвах и я их промочила. После обеда я почувствовала озноб и жар, но, по заведенному порядку, продолжала ходить, а после чаю села играть с Любочкой в четыре руки. (Ты не узнаешь ее: такие она сделала успехи!) Но представь себе мое удивление, когда я заметила, что не могу счесть такта. Несколько раз я принималась считать, но всё в голове у меня решительно путалось, и я чувствовала странный шум в ушах. Я считала: раз, два, три, потом вдруг: восемь, пятнадцать, и, главное,—видела, что вру, и никак не могла поправиться. Наконец Мими пришла мне на помощь и почти насильно уложила в постель. Вот тебе, мой друг, подробный отчет в том, как я занемогла и как сама в том виновата. На другой день у меня был жар довольно сильный и приехал наш добрый, старый Иван Васильич, который до сих пор живёт у нас и обещается скоро выпустить меня на свет божий. Чудесный старик этот Иван Васильич! Когда у меня был жар и бред, он целую ночь, не смыкая глаз, просидел около моей постели, теперь же, так как знает, что я пишу, сидит с девочками в диванной, и мне слышно из спальни, как им рассказывает немецкие сказки и как они, слушая его, помирают со смеху.

La belle Flamande¹, как ты называешь её, гостит у меня уже вторую неделю, потому что мать её уехала куда-то в гости, и своими попечениями доказывает самую искреннюю привязанность. Она поверяет мне все свои сердечные тайны. С её прекрасным лицом, добрым сердцем и молодостью из неё могла бы выйти во всех отношениях прекрасная девушка, если бы она была в хороших руках; но в том обществе, в котором она живёт, судя по её рассказам, она совершенно погибнет. Мне приходило в голову, что если бы у меня не было так много своих детей, я бы скорее дело сделала, взяв её.

Любочка сама хотела писать тебе, но изорвала уже третий лист бумаги и говорит: «Я знаю, какой папа насмешник: если сделать хоть одну ошибку, он всем покажет». Катенька всё так же мила, Мими так же добра и скучна.

Теперь поговорим о серьёзном: ты мне пишешь, что дела твои идут нехорошо эту зиму и что тебе необходимо будет взять хабаровские деньги. Мне даже странно,

¹ Красавица фламандка (франц.).

что ты спрашиваешь на это моего согласия. Разве то, что принадлежит мне, не принадлежит столько же и тебе?

Ты так добр, милый друг, что из страха огорчить меня скрываешь настоящее положение своих дел; но я догадываюсь: верно, ты проиграл очень много, и несколько, боюсь тебе, не огорчаюсь этим; поэтому, если только дело это можно поправить, пожалуйста, много не думай о нём и не мучь себя напрасно. Я привыкла не только не рассчитывать для детей на твой выигрыш, но, извини меня, даже и на всё твоё состояние. Меня так же мало радует твой выигрыш, как огорчает проигрыш; меня огорчает только твоё несчастная страсть к игре, которая отнимает у меня часть твоёй нежной привязанности и заставляет говорить тебе такие горькие истины, как теперь, а богу известно, как мне это больно! Я не перестаю молить его об одном, чтобы он избавил нас... не от бедности (что бедность?), а от того ужасного положения, когда интересы детей, которые я должна буду защищать, придут в столкновение с нашими. До сих пор господь исполнял мою молитву: ты не переходил одной черты, после которой мы должны будем или жертвовать состоянием, которое принадлежит уже не нам, а нашим детям, или... и подумать страшно, а ужасное несчастье это всегда угрожает нам. Да, это тяжёлый крест, который послал нам обоим господь!

Ты пишешь мне ещё о детях и возвращаешься к нашему давнишнему спору: просишь меня согласиться на то, чтобы отдать их в учебное заведение. Ты знаешь моё предубеждение против такого воспитания...

Не знаю, милый друг, согласишься ли ты со мною; но во всяком случае умоляю тебя, из любви ко мне, дать мне обещание, что куда я жива и после моей смерти, если богу угодно будет разлучить нас, этого никогда не будет.

Ты мне пишешь, что тебе необходимо будет съездить в Петербург по нашим делам, Христос с тобой, мой дружок, поезжай и возвращайся поскорее. Нам всем без тебя так скучно! Весна чудо как хороша; балконную дверь уж выставили, дорожка к оранжерее четыре дня тому назад была совершенно суха, персики во всём цвету, кой-где только остался снег, ласточки прилетели, и нынче Любочка принесла мне первые весенние цветы. Доктор говорит, что дня через три я буду совсем здорова и мне можно будет подышать свежим воздухом и погреться на

апрельском солнышке. Прощай же, милый друг, не беспокойся, пожалуйста, ни о моей болезни, ни о своём проигрыше; кончай скорей дела и приезжай к нам с детьми на целое лето. Я делаю чудные планы о том, как мы проведем его, и недостаёт только тебя, чтобы им осуществиться».

Следующая часть письма была написана по-французски, связным и неровным почерком, на другом клочке бумаги. Я перевожу его слово в слово:

«Не верь тому, что я писала тебе о моей болезни; никто не подозревает, до какой степени она серьёзна. Я одно знаю, что мне больше не вставать с постели. Не теряй ни одной минуты, приезжай сейчас же и привези детей. Может быть, я успею ещё раз обнять тебя и благословить их: это моё одно последнее желание. Я знаю, какой ужасный удар нанесу тебе; но всё равно, рано или поздно, от меня или от других, ты получишь его; постарайся же с твёрдостью и надеждою на милосердие божие перенести это несчастье. Покоримся воле его».

Не думай, чтобы то, что я пишу, было бредом больного воображения; напротив, мысли мои чрезвычайно ясны в эту минуту, и я совершенно спокойна. Не утешай же себя напрасно надеждой, чтобы это были ложные, неясные предчувствия боязливой души. Нет, я чувствую, я знаю — и знаю потому, что богу было угодно открыть мне это, — мне осталось жить очень недолго.

Кончится ли вместе с жизнью моя любовь к тебе и детям? Я поняла, что это невозможно. Я слишком сильно чувствую в эту минуту, чтобы думать, что то чувство, без которого я не могу понять существования, могло бы когда-нибудь уничтожиться. Душа моя не может существовать без любви к вам: а я знаю, что она будет существовать вечно, уже по одному тому, что такое чувство, как моя любовь, не могло бы возникнуть, если бы оно должно было когда-нибудь прекратиться.

Меня не будет с вами; но я твёрдо уверена, что любовь моя никогда не оставит вас, и эта мысль так отрадна для моего сердца, что я спокойно и без страха ожидаю приближающейся смерти.

Я спокойна, и богу известно, что всегда смотрела и смотрю на смерть как на переход к жизни лучшей; но отчего ж слёзы давят меня?.. Зачем лишать детей любимой матери? Зачем наносить тебе такой тяжёлый, неожиданный удар? Зачем *мне* умирать, когда ваша лю-

бóвь дѣлала для меня жизнь беспредѣльно счастливою?

Да бѣдет его святая воля.

Я не могу писать бóльше от слѣз. Может быть, я не увижу тебя. Благодарю же тебя, мой бесцѣнный друг, за всё счастье, которым ты окружил меня в этой жизни; я там буду просить бóга, чтобы он наградил тебя. Прощай, милый друг; помни, что меня не бѣдет, но любовь моя никогда и нигдѣ не оставит тебя. Прощай, Володя, прощай, мой ангел, прощай, Венямин—мой Николенька.

Неужели они когда-нибудь забудут меня?!

В этом письмѣ была вложена французская записочка Мимі, слѣдующего содержанія:

«Печальные предчувствія, о которых она говорит вам, слишком подтвердились словами дóктора. Вчера ночью она велела отправить это письмо тóтчас на почту. Думая, что она сказала это в бреду, я ждала до сегоднешнего утра и решилась его распечатать. Тóлько что я распечатала, как Натáлья Николаевна спросила меня, что я сдѣлала с письмом, и приказала мне сжечь его, если оно не отправлено. Она всё говорит о нём и уверяет, что оно должно убить вас. Не откладывайте вáшей поѣздки, если вы хотите видеть этого ангела, покúда ещё он не оставил нас. Извините это маранье. Я не спала три нóчи. Вы знаете, как я люблю её!»

Натáлья Сáвишна, которая всю ночь 11 апрѣля провела в спальне мáтушки, рассказывала мне, что, написав первую часть письма, татап положила его пóдле себя на столик и започивала.

— Я самá,—говорила Натáлья Сáвишна,—признаюсь, задремала на кресле, и чулок вывалился у меня из рук. Тóлько слышу я сквозь сон — часу этак в первом,— что она как будто разговаривает; я открыла глаза, смотрю: она, моя голубушка, сидит на постели, сложила вот этак ручки, а слёзы в три ручья так и текут. «Так всё кончено?» — тóлько она и сказала и закрыла лицо руками. Я вскочила, стала спрашивать: «Что с вами?»

— Ах, Натáлья Сáвишна, если бы вы знали, когó я сейчас видела.

Скóлько я ни спрашивала, бóльше она мне ничего не сказала, тóлько приказала подать столик, пописала ещё чтó-то, при себѣ приказала запечатать письмо и сейчас же отправить. После уж всё пошло хúже да хúже.

ЧТО ОЖИДАЛО НАС В ДЕРЕВНЕ



Восемнадцатого апрѣля мы выходили из дорѣжной коляски, у крыльца петровскаго дома. Выезжая из Москвы, папá был задумчив, и когда Володя спросил у него: не больна ли татап? — он с грустию посмотрѣл на него и молча кивнул головой. Во время путешествія он замѣтно успокоился; но по мѣре приближенія к дому лицо его всё болѣе и болѣе принимало печальное выраженіе, и когда, выходя из коляски, он спросил у выбежавшаго, запыхавшагося Фѳки: «Где Натáлья Николаевна?», голос его был нетверд и в глазахъ были слѣзы. Дѳбрый старикъ Фѳка, украдкой взглянув на нас, опустил глаза и, отворяя дверь в переднюю, отвернувшись, отвечал:

— Шестой день уж не изволят выходить из спальни.

Милка, которая, как я после узнал, с самаго того дня, в который занемогла татап, не переставала жалобно выть, весело бросилась к отцу — прыгала на него, взвизгивала, лизала его руки; но он оттолкнул её и прошёл в гостиную, оттуда в диванную, из которой дверь велá прямо в спальню. Чем ближе подходил он к этой комнате, тем болѣе, по всем телодвиженіям, было замѣтно его беспокойство: войдя в диванную, он шёл на цыпочках, едва переводил дыханіе и перекрестился, прежде чем решился взяться за замокъ затворенной двери. В это время из коридора выбежала нечесаная, заплаканная Мимі. «Ах! Пѣтр Алексáндрыч! — сказала она шепотом, с выраженіем истиннаго отчаянія, и потом, замѣтив, что папá поворачивает ручку замка, она прибавила чуть слышно: — Здесь нельзя пройти — ход из девичей».

О, как тяжело всё это действовало на моё настроенное к горю страшным предчувствіем дѣтское воображеніе!

Мы пошли в девичью; в коридоре попался нам на дороге дурачок Акимъ, который всегда забавлял нас своими гримáсами; но в эту минуту не только он мне не казался смешнымъ, но ничто так больно не поразило меня, как вид его бессмысленно-равнодушнаго лица. В девичей две девушки, которые сидели за какой-то работою, привстали, чтобы поклониться нам, с такимъ печальнымъ выраженіем,

что мне сдѣлалось страшно. Пройдя ещё комнату Мимі, папá отворилъ дверь спальни, и мы вошли. Направо от двери были два окна, завѣшенные платками; у одного из них сидѣла Натáлья Сáвишна, с очками на носу, и вязáла чулокъ. Она не стала целовать нас, как то обыкновенно дѣлывала, а только привстала, посмотрѣла на нас через очки, и слёзы потекли у неё градом. Мне очень не понравилось, что все при первом взгляде на нас начинают плакать, тогда как прежде были совершенно спокойны.

Налево от двери стояли ширмы, за ширмами — кровать, столик, шкафчик, уставленный лекарствами, и большѣе кресло, на котором дремал доктор; подле кровати, стояла молодая, очень белокурая, замечательной красоты девушка, в белом утреннем капоте, и, немного засучив рукава, прикладывала лёд к головѣ татап, которую мне не было видно в эту минуту. Девушка эта была la belle Flamande, про которую писала татап и которая впоследствии играла такую важную роль в жизни всего нашего семейства. Как только мы вошли, она отняла одну руку от головы татап и поправила на груди складки своего капота, потом шепотом сказала: «В забытій».

Я был в сильном гóре в эту минуту, но невольно замечал все мелочи. В комнате было почти темно, жарко и пахло вместе мятой, одеколоном, ромашкой и гофманскими каплями. Запах этот так поразил меня, что, не только когда я слышу его, но когда лишь вспоминаю о нём, воображение мгновенно переносит меня в эту мрачную, душную комнату и воспроизводит все мельчайшие подробности ужасной минуты.

Глазá татап были открыты, но она ничего не видела... О, никогда не забуду я этого страшного взгляда! В нём выражалось столько страдания!..

Нас увели.

Когда я потом спрашивал у Натáльи Сáвишны о послѣдних минутах матушки, вот что она мне сказала:

— Когда вас увели, она ещё долго металась, моя голубушка, точно вот здесь её давило что-то; потом спустила головку с подушек и задремала, так тихо, спокойно, точно ангел небесный. Только я вышла посмотреть, что питьё не несёт,— прихожу, а уж она, моя сердечная, всё вокруг себя раскидала и всё манит к себе вашего папеньку; тот нагнётся к ней, а уж сил, видно, недостаёт сказать, что хотѣлось; только откóрет губки и опять начнёт

охать: «Бóже мой! Господи! Детей! детей!» Я хотела было за вами бежать, да Иван Васильич остановил, говорит: «Это хуже встревожит её, лучше не надо». После уж только поднимет ручку и опять опустит. И что она этим хотела, бог её знает. Я так думаю, что это она вас заблагоговляла; да, видно, не привёл её господь (перед последним концом) взглянуть на своих деточек. Потом она приподнялась, моя голубушка, сделала вот так ручки и вдруг заговорила, да таким голосом, что я и вспомнить не могу: «Матерь божия, не оставь их!..» Тут уж боль подступила ей под самое сердце, по глазам видно было, что ужасно мучилась бедняжка; упала на подушки, ухватилась зубами за простыню; а слёзы-то, мой батюшка, так и текут.

— Ну, а потом? — спросил я.

Наталья Савишна не могла больше говорить: она отвернулась и горько заплакала.

Матап скончалась в ужасных страданиях.

Глава XXVII

ГОРЕ



На другой день, поздно вечером, мне захотелось ещё раз взглянуть на неё; преодолев небольшое чувство страха, я тихо отворил дверь и на цыпочках вошёл в залу.

Посредине комнаты, на столе, стоял гроб, вокруг него нагоревшие свечи в высоких серебряных подсвечниках; в дальнем углу сидел дьячок и тихим, однообразным голосом читал псалтырь.

Я остановился у двери и стал смотреть; но глаза мои были так заплаканы и нервы так расстроены, что я ничего не мог разобрать; всё как-то странно сливалось вместе: свет, парча, бархат, большие подсвечники, розовая, обшитая кружевами подушка, венок, чепчик с лентами и ещё что-то прозрачное, воскового цвета. Я стал на стул, чтобы рассмотреть её лицо; но на том месте, где оно находилось, мне опять представился тот же бледно-желтоватый прозрачный предмет. Я не мог верить, чтобы это было её лицо. Я стал вглядываться в него пристальнее и мало-

помалу стал узнавать в нём знакомые, милые черты. Я вздрогнул от ужаса, когда убедился, что это была она; но отчего закрытые глаза так впали? отчего эта страшная бледность и на одной щеке черноватое пятно под прозрачной кожей? отчего выражение всего лица так строго и холодно? отчего губы так бледны и склад их так преграден, так величествен и выражает такое неземное спокойствие, что холодная дрожь пробегает по моей спине и волосам, когда я вглядываюсь в него?..

Я смотрел и чувствовал, что какая-то непонятная, непреодолимая сила притягивает мой глаза к этому безжизненному лицу. Я не спускал с него глаз, а воображение рисовало мне картины, цветущие жизнью и счастьем. Я забывал, что мёртвое тело, которое лежало передо мною и на которое я бессмысленно смотрел, как на предмет, не имеющий ничего общего с моими воспоминаниями, была она. Я воображал её то в том, то в другом положении: живую, весёлую, улыбающуюся; потом вдруг меня поражала какая-нибудь черта в бледном лице, на котором остановились мой глаза: я вспоминал ужасную действительность, содрогался, но не переставал смотреть. И снова мечты заменили действительность, и снова сознание действительности разрушало мечты. Наконец воображение устало, оно перестало обманывать меня; сознание действительности тоже исчезло, и я совершенно забылся. Не знаю, сколько времени пробыл я в этом положении, не знаю, в чём состояло оно; знаю только то, что на время я потерял сознание своего существования и испытывал какое-то высокое, неизъяснимо-приятное и грустное наслаждение.

Может быть, отлетая к миру лучшему, её прекрасная душа с грустью оглянулась на тот, в котором она оставляла нас; она увидела мою печаль, сжалась над нею и на крыльях любви, с небесною улыбкою сожаления, спустилась на землю, чтобы утешить и благословить меня.

Дверь скрипнула, и в комнату вошёл дьячок на смену. Этот шум разбудил меня, и первая мысль, которая пришла мне, была та, что, так как я не плачу и стою на стуле в позе, не имеющей ничего трогательного, дьячок может принять меня за бесчувственного мальчика, который из жалости или любопытства забрался на стул: я перекрестился, поклонился и заплакал.

Вспоминая теперь свои впечатления, я нахожу, что только одна эта минута самозабвения была настоящим

гóрем. Прѣжде и послѣ погребѣнія я не переставалъ плакать и былъ грустен, но мнѣ совѣстно вспомнить эту грусть, потому что к ней всегда примѣшивалось какое-нибудь самолюбивое чувство: то желаніе показать, что я огорченъ больше всех, то заботы о дѣйствии, котороѣ я произвожу на другихъ, то бесцѣльное любопытство, котороѣ заставляло дѣлать наблюденія над чепцомъ Миміи и лицами присутствующихъ. Я презиралъ себя за то, что не испытываю исключительно одного чувства горести, и старался скрывать все другіе; от этого печаль моя была неискренна и неестественна. Сверхъ того, я испытывалъ какое-то наслажденіе, зная, что я несчастливъ, старался возбуждать сознаніе несчастья, и это эгоистическое чувство больше другихъ заглушало во мнѣ истинную печаль.

Проспавъ эту ночь крепко и спокойно, какъ всегда бываетъ послѣ сильнаго огорченія, я проснулся съ высохшими слезами и успокоившимися нервами. Вдѣсять часовъ насъ позвали къ панихидѣ, которую служили передъ выносомъ. Комната была наполнена дворовыми и крестьянами, которыя, все въ слезахъ, пришли проститься съ своею барыней. Во время службы я прилично плакалъ, крестился и кланялся въ зѣмлю, но не молился въ душѣ и былъ довольно хладнокровен; заботился о томъ, что новый полуфрачекъ, который на меня надѣли, очень жалъ мне подмышками, думалъ о томъ, какъ бы не запачкать слишкомъ панталонъ на колѣняхъ, и украдкой дѣлалъ наблюденія надъ всеми присутствовавшими. Отецъ стоялъ у изголовья гроба, былъ блѣденъ, какъ платокъ, и съ замѣтнымъ трудомъ удерживалъ слезы. Его высокая фигура въ черномъ фраке, блѣдное выразительное лицо и, какъ всегда, граціозныя и увѣренныя движенія, когда онъ крестился, кланялся, доставая рукою зѣмлю, бралъ свечу изъ рукъ священника или подходилъ ко гробу, были чрезвычайно эффектны; но, не знаю почему, мнѣ не нравилось въ немъ именно то, что онъ могъ казаться такимъ эффектнымъ въ эту минуту. Миміи стояла, прислонившись къ стѣнѣ, и, казалось, едва держалась на ногахъ; платъе на ней было измято и въ пуху, чепецъ сбитъ на сторону; опухшія глаза были красны, голова ея тряслась; она не переставала рыдать раздирающимъ душу голосомъ и беспрестанно закрывала лицо платкомъ и руками. Мнѣ казалось, что она это дѣлала для того, чтобы, закрывъ лицо отъ зрителей, на минуту отдохнуть отъ притворныхъ рыданій. Я вспомнилъ, какъ накануне она говорила отцу,

что смерть тамап для неё такой ужасный удар, которого она никак не надеется перенести, что она лишила её всего, что этот ангел (так она называла тамап) перед самою смертию не забыл её и изъявил желание обеспечить навсегда будущность её и Катеньки. Она проливала горькие слёзы, рассказывая это, и, может быть, чувство горести её было истинно, но оно не было чисто и исключительно. Любочка, в чёрном платье, обшитом плерезами, вся мокрая от слёз, опустила голову, изредка взглядывала на гроб, и лицо её выражало при этом только детский страх. Катенька стояла подле матери и, несмотря на её вытянутое личико, была такая же розовенькая, как и всегда. Откровенная натура Володи была откровенна и в горести: он то стоял задумавшись, уставив неподвижные взоры на какой-нибудь предмет, то рот его вдруг начинал кривиться, и он поспешно крестился и кланялся. Все посторонние, бывшие на похоронах, были мне несносны. Утешительные фразы, которые они говорили отцу — что ей там будет лучше, что она была не для этого мира, — возбуждали во мне какую-то досаду.

Какое они имели право говорить и плакать о ней? Некоторые из них, говоря про нас, называли нас *сиротами*. Точно без них не знали, что детей, у которых нет матери, называют этим именем! Им, верно, нравилось, что они первые дадут нам его, точно так же, как обыкновенно торопятся только что вышедшую замуж девушку в первый раз назвать *madame*.

В дальнем углу залы, почти спрятавшись за отворенной дверью буфета, стояла на коленях согрбленная седая старушка. Соединив руки и подняв глаза к небу, она не плакала, но молилась. Душа её стремилась к богу, она просила его соединить её с тою, кого она любила больше всего на свете, и твёрдо надеялась, что это будет скоро.

«Вот кто истинно любил её!» — подумал я, и мне стало стыдно за самого себя.

Панихида кончилась; лицо покойницы было открыто, и все присутствующие, исключая нас, один за другим стали подходить к гробу и прикладываться.

Одна из последних подошла проститься с покойницей какая-то крестьянка с хорошенькой пятилетней девочкой на руках, которую, бог знает зачем, она принесла сюда. В это время я нечаянно уронил свой мокрый платок и хотел поднять его; но только что я нагнулся, меня поразила страшный пронзительный крик, исполненный такого

ужаса, что, проживи я сто лет, я никогда его не забуду, и, когда вспомню, всегда пробежит холодная дрожь по моему телу. Я поднял голову — на табурете, подле гроба, стояла та же крестьянка и с трудом удерживала в руках девочку, которая, отмахиваясь ручонками, откинув назад испуганное личико и уставив выпученные глаза на лицо покойной, кричала страшным, неистовым голосом. Я вскрикнул голосом, который, я думаю, был ещё ужаснее того, который поразил меня, и выбежал из комнаты.

Только в эту минуту я понял, отчего происходил тот сильный тяжёлый запах, который, смешиваясь с запахом ладана, наполнял комнату; и мысль, что то лицо, которое за несколько дней было исполнено красоты и нежности, лицо той, которую я любил больше всего на свете, могло возбуждать ужас, как будто в первый раз открыла мне горькую истину и наполнила душу отчаянием.

Глава XXVIII

ПОСЛЕДНИЕ ГРУСТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ



Матан уже не было, а жизнь наша шла всё тем же чередом: мы ложились и вставали в те же часы и в тех же комнатах; утренний, вечерний чай, обед, ужин — всё было в обыкновенное время; столы, стулья стояли на тех же местах; ничего в доме и в нашем образе жизни не переменилось; только её не было...

Мне казалось, что после такого несчастья всё должно бы было измениться; наш обыкновенный образ жизни казался мне оскорблением её памяти и слишком живо напоминал её отсутствие.

Накануне погребения, после обеда, мне захотелось спать, и я пошёл в комнату Натальи Савишны, рассчитывая поместиться на её постели, на мягком пуховике, под тёплым стёганым одеялом. Когда я вошёл, Наталья Савишна лежала на своей постели и, должно быть, спала; услышав шум моих шагов, она приподнялась, откинула шерстяной платок, которым от мух была покрыта её голова, и, поправляя чепец, уселась на край кровати.

Так как ещё прежде довольно часто случалось, что пос-



Подле кровати стояла молодая, очень белокурая, замечательной красоты девушка.



Катенька сидела подле меня в бричке... Я молча смотрел на неё.

ле обеда я приходил спать в её комнату, она догадалась, зачем я пришёл, и сказала мне, приподнимаясь с постели:

— Что? верно, отдохнуть пришли, мой голубчик? ложитесь.

— Что вы, Наталья Савишна? — сказал я, удерживая её за руку, — я совсем не за этим... я так пришёл... да вы и сами устали: лучше ложитесь вы.

— Нет, батюшка, я уж выспалась, — сказала она мне (я знал, что она не спала трое суток). — Да и не до сна теперь, — прибавила она с глубоким вздохом.

Мне хотелось поговорить с Натальей Савишной о нашем несчастье; я знал её искренность и любовь, и потому поплакать с нею было для меня отрадой.

— Наталья Савишна, — сказал я, помолчав немного и усаживаясь на постель, — ожидали ли вы этого?

Старушка посмотрела на меня с недоумением и любопытством, должно быть не понимая, для чего я спрашиваю у неё это.

— Кто мог ожидать этого? — повторил я.

— Ах, мой батюшка, — сказала она, кинув на меня взгляд самого нежного сострадания, — не то, чтобы ожидать, а я и теперь подумать-то не могу. Ну уж мне, старухе, давно бы поря сложить старые кости на покой; а то вот до чего довелось дожить: старого барина — вашего дедушку, вечная память, князя Николая Михайловича, двух братьев, сестру Аннушку, всех схоронила, и все моложе меня были, мой батюшка, а вот теперь, видно, за грехи мой, и её пришлось пережить. Его святая воля! Он затем и взял её, что она достойна была, а ему добрых и там нужно.

Эта простая мысль отрадно поразила меня, и я ближе придвинулся к Наталье Савишне. Она сложила руки на груди и взглянула кверху; впалые влажные глаза её выражали великую, но спокойную печаль. Она твёрдо надеялась, что бог ненадолго разлучил её с тою, на которой столько лет была сосредоточена вся сила её любви.

— Да, мой батюшка, давно ли, кажется, я её ещё нянчила, пеленала и она меня Нашей называла. Бывало, прибежит ко мне, обхватит ручонками и начнёт целовать и приговаривать:

— Нашик мой, красавчик мой, индюшечка ты моя.

А я, бывало, пошучу — говорю:

— Неправда, матушка, вы меня не любите; вот дай только вырастете большие, выдете замуж и Нашу свою забудете. — Она, бывало, задумается. — Нет, — говорит, —

я лучше замуж не пойду, если нельзя нашу с собой взять; я нашу никогда не покину.— А вот покинула же и не дождалась. И любила же она меня, покойница! Да кого она и не любила, правду сказать! Да, батюшка, вашу мамёнку вам забывать нельзя; это не человек был, а ангел небесный. Когда её душа будет в царствии небесном, она и там будет вас любить и там будет на вас радоваться.

— Отчего же вы говорите, Наталья Савишна, когда будет в царствии небесном? — спросил я, — ведь она, я думаю, и теперь уже там.

— Нет, батюшка, — сказала Наталья Савишна, понизив голос и усаживаясь ближе ко мне на постели, — теперь её душа здесь.

И она указывала вверх. Она говорила почти шёпотом и с таким чувством и убеждением, что я невольно поднял глаза кверху, смотрел на карнизы и искал чего-то.

— Прежде чем душа праведника в рай идёт — она ещё сорок мытарств проходит, мой батюшка, сорок дней, и может ещё в своём доме быть...

Долго ещё говорила она в том же роде, и говорила с такою простотою и уверенностью, как будто рассказывала вещи самые обыкновенные, которые сама видела и насчёт которых никому в голову не могло прийти ни малейшего сомнения. Я слушал её, притаив дыхание, и, хотя не понимал хорошенько того, что она говорила, верил ей совершенно.

— Да, батюшка, теперь она здесь, смотрит на нас, слушает, может быть, что мы говорим, — заключила Наталья Савишна.

И, опустив голову, замолчала. Ей понадобился платок, чтобы отереть падавшие слёзы; она встала, взглянула мне прямо в лицо и сказала дрожащим от волнения голосом:

— На много ступеней подвинул меня этим к себе господь. Что мне теперь здесь осталось? для кого мне жить? кого любить?

— А нас разве вы не любите? — сказал я с упреком и едва удерживаясь от слёз.

— Богу известно, как я вас люблю, моих голубчиков, но уж так любить, как я её любила, никого не любила, да и не могу любить.

Она не могла больше говорить, отвернулась от меня и громко зарыдала.

Я не думал уже спать; мы молча сидели друг против друга и плакали.

В комнату вошёл Фёка; заметив наше положение и, должно быть, не желая тревожить нас, он, молча и робко поглядывая, остановился у дверей.

— Зачем ты, Фёкаша? — спросила Наталья Савишна, утираясь платком.

— Изюму полтора, сахара четыре фунта и сарачинского пшена три фунта для кутьи-с.

— Сейчас, сейчас, батюшка, — сказала Наталья Савишна, торопливо понюхала табак и скорыми шажками пошла к сундуку. Последние следы печали, произведённой нашим разговором, исчезли, когда она принялась за свою обязанность, которую считала весьма важною.

— На что четыре фунта? — говорила она ворчливо, доставая и отвешивая сахар на безмене, — и три с половиною довольно будет.

И она сняла с весов несколько кусочков.

— А это на что похоже, что вчера только восемь фунтов пшена отпустила, опять спрашивают: ты как хочешь, Фёка Демидыч, а я пшена не отпущу. Этот Ванька рад, что теперь суматоха в доме: он думает, авось не заметят. Нет, я потяжки за барское добро не дам. Ну виданное ли это дело — восемь фунтов?

— Как же быть-с? он говорит, всё вышло.

— Ну, на, возьми, на! пусть возьмёт!

Меня поразило тогда этот переход от трогательного чувства, с которым она со мной говорила, к ворчливости и мелочным расчётам. Рассуждая об этом впоследствии, я понял, что, несмотря на то, что у неё делалось в душе, у неё доставало довольно присутствия духа, чтобы заниматься своим делом, а сила привычки тянула её к обыкновенным занятиям. Горе так сильно подействовало на неё, что она не находила нужным скрывать, что может заниматься посторонними предметами; она даже и не поняла бы, как может прийти такая мысль.

Тщеславие есть чувство самое несообразное с истинною горестью, и вместе с тем чувство это так крепко привито к натуре человека, что очень редко даже самое сильное горе изгоняет его. Тщеславие в горести выражается желанием казаться или огорчённым, или несчастным, или твёрдым; и эти низкие желания, в которых мы не признаёмся, но которые почти никогда — даже в самой сильной печали — не оставляют нас, лишают её си-

лы, достóинства и искренности. Натáлья же Сáвишна была так глубоко пораженá своим несча́тием, что в ду́ше её не оставáлось ни одногó желáния, и она́ жила то́лько по привы́чке.

Выдав Фóке трéбуемую провизию и напо́мнив ему́ о пиро́ге, кото́рый на́до бы пригото́вить для угоще́ния при́чта¹, она́ отпусти́ла его́, взяла́ чуло́к и о́пять се́ла по́дле меня́.

Разго́вор начался́ про то же, и мы ещё́ раз попла́кали и ещё́ раз утёрли слёзы.

Бесе́ды с Натáльей Сáвишной повто́рялись ка́ждый день; её́ ти́хие слёзы и споко́йные набо́жные ре́чи доставля́ли мне отра́ду и обле́гчение.

Но ско́ро нас разлучи́ли: че́рез три дня по́сле похоро́н мы всем до́мом при́ехали в Москвú, и мне суждено́ было́ никогда́ бо́льше не ви́дать её́.

Ба́бушка получи́ла ужáсную весть то́лько с на́шим при́ездом, и го́реть её́ была́ необыкновенна́. Нас не пуска́ли к ней, потому́ что она́ це́лую неде́лю была́ в беспáмьстве, докторá боя́лись за её́ жизнь, тем бо́лее что она́ не то́лько не хоте́ла принима́ть никако́го лека́рства, но ни с кем не говори́ла, не спала́ и не принима́ла никако́й пи́щи. Иногда́, си́дя одна́ в ко́мнате, на своём кресе́ле, она́ вдруг начина́ла смеяться́, пото́м рыда́ть без слёз, с ней де́лались конву́льсии, и она́ крича́ла не́истовым го́лосом бессмы́сленные и́ли ужáсные слова́. Это́ было́ пе́рвое сильное го́ре, кото́рое порази́ло её́, и это́ го́ре привело́ её́ в отча́яние. Ей ну́жно было́ обвиня́ть когó-нибудь в своём несча́тии, и она́ говори́ла стра́шные слова́, грози́ла кому́-то с необыкновенно́й си́лой, вска́кивала с кресе́л, ско́рыми, большо́ими шага́ми ходи́ла по ко́мнате и пото́м па́дала без чувств.

Оди́н раз я воше́л в её́ ко́мнату: она́ сидела́, по обыкнове́нию, на своём кресе́ле и, ка́залось, была́ споко́йна; но меня́ порази́л её́ взгляд. Глаза́ её́ бы́ли о́чень откры́ты, но взор неопределе́нен и туп: она́ смотре́ла прямо́ на меня́, но, должно́ быть, не ви́дала. Гу́бы её́ нача́ли ме́дленно улыба́ться, и она́ заговори́ла трóгательным, не́жным го́лосом: «Поди́ сюда́, мой дру́жок, подойди́, мой а́нгел». Я ду́мал, что она́ обраща́ется ко мне, и подоше́л бли́же, но она́ смотре́ла не на меня́. «Ах, ко́бли бы ты зна́ла, душа́ моя́, как я му́чилась и как тепе́рь ра́да, что ты при́ехала...» Я по́нял, что она́ вообража́ла ви́деть тата́н,

¹ При́чт — служите́ли како́й-либо опреде́ленной це́ркви.

и остановился. «А мне сказа́ли, что тебя нет,— продолжала она нахму́рившись,— вот вздор! Разве ты мо́жешь умереть прѣжде меня?» — и она захохотала стра́нным истерическим хохотом.

Только люди, способные сильно любить, могут испытывать и сильные огорчения; но та же потребность любить служит для них противодействием горести и исцеляет их. От этого моральная природа человека ещё живучее природы физической. Горе никогда не убивает.

Через неделю бабушка могла плакать, и ей стало лучше. Первою мыслию её, когда она пришла в себя, были мы, и любовь её к нам увеличилась. Мы не отходили от её кресла; она тихо плакала, говорила про папаша и нежно ласкала нас.

В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, чтобы она преувеличивала её, и выражения этой печали были сильны и трогательны; но, не знаю почему, я больше сочувствовал Наталье Савишне, и до сих пор убеждён, что никто так искренно и чисто не любил и не сожалел о папаше, как это простодушное и любящее создание.

Со смертью матери окончилась для меня счастливая пора детства и началась новая эпоха — эпоха отрочества; но так как воспоминания о Наталье Савишне, которую я больше не видал и которая имела такое сильное и благое влияние на моё направление и развитие чувствительности, принадлежат к первой эпохе, скажу ещё несколько слов о ней и её смерти.

После нашего отъезда, как мне потом рассказывали люди, оставшиеся в деревне, она очень скучала от безделья. Хотя все сундуки были ещё на её руках и она не переставала рыться в них, перекладывать, развешивать, раскладывать, но ей не доставало шума и суетливости барского, обитаемого господами, деревенского дома, к которым она с детства привыкла. Горе, перемена образа жизни и отсутствие хлопот скоро развили в ней старческую болезнь, к которой она имела склонность. Ровно через год после кончины матушки у неё открылась водянка, и она слегла в постель.

Тяжело, я думаю, было Наталье Савишне жить и ещё тяжелее умирать одной, в большом пустом петровском доме, без родных, без друзей. Все в доме любили и уважали Наталью Савишну; но она ни с кем не имела дружбы и гордилась этим. Она полагала, что в её положё-

нии — эконо́мки, пользующейся до́веренностью своих гос-
под и имеющей на руках сто́лько сундуко́в со всяким
добро́м, дру́жба с кѣм-нибудь непремѣнно повела́ бы её
к лицепріятию и преступной снисходительности; поэ́тому,
или, мо́жет быть, потому́, что не имѣла ниче́го о́бщего с
други́ми слугами, она́ удаля́лась всех и говори́ла, что у
неё в до́ме нет ни кумовьѣв, ни сватов и что за ба́рское
добро́ она́ никому́ пота́чки не даст.

Поверя́я бо́гу в тёплой моли́тве свои́ чу́ства, она́ иска́-
ла и находила́ утешѣние; но иногда́, в мину́ты сла́бости,
ко́торым мы все подвер́жены, когда́ лучшее утешѣние для
челове́ка доставляют слѣзы и уча́стие живого существа́,
она́ кла́ла себѣ на постѣль свою́ собачо́нку мо́ську (кото́-
рая лиза́ла её ру́ки, уста́вив на неё свои́ жѣлтые глаза́),
говори́ла с ней и тихо пла́кала, ласка́я её. Когда́ мо́ська
начина́ла жа́лбно выть, она́ стара́лась успоко́ить её и
говори́ла: «По́лно, я и без тебя́ зна́ю, что ско́ро умру́».

За ме́сяц до своѣй сме́рти она́ доста́ла из своего́ сун-
дука́ бѣлого коленокору́, бѣлой кисеи́ и ро́зовых лент; с
по́мощью своѣй де́вушки сши́ла себѣ бѣлое пла́тье, че́пчик
и до малѣйших подро́бностей распоряди́лась всем, что
нужно́ бы́ло для её похоро́н. Она́ то́же разобрала́ ба́рские
сундуки́ и с велича́йшей отче́тливостью, по о́писи, пере-
дала́ их прика́зчице; пото́м доста́ла два шѣлковые пла́-
тья, старинную́ шаль, подáренные ей когда́-то ба́бушкой,
де́душкин воѣнный мунди́р, шитый зо́лотом, то́же о́тдан-
ный в её по́лную со́бственность. Благодаря́ её заботливо-
сти, шитьѣ и галуны́ на мунди́ре бы́ли соверше́нно свежи́
и сукно́ не трону́то мо́лью.

Перед кончи́ной она́ изъявила́ желáние, что́бы одно́ из
эти́х пла́тий — ро́зовое — бы́ло о́тдано Во́лоде на халат
или бешме́т, друго́е — пи́совое, в кле́тках — мне, для то́-
го же употре́бления; а шаль — Лю́бочке. Мунди́р она́ за-
веща́ла тому́ из нас, кто прѣ́жде бу́дет офице́ром. Все́
оста́нное своё иму́щество и де́ньги, исклю́чая сорока́
рубле́й, кото́рые она́ отложи́ла на погребѣ́нье и поминá-
нье, она́ предоста́вила получи́ть своему́ бра́ту. Брат её,
ещѣ давно́ отпу́щенный на волю́, прожива́л в какой-то
да́льней губѣрнии и ве́л жизнь са́мую распу́тную; поэ́тому
при жи́зни своѣй она́ не имѣла с ним никаки́х сноше́ний.

Когда́ брат Ната́льи Са́вишны яви́лся для получѣ́ния
насле́дства и всего́ иму́щества покойной́ оказа́лось на
два́дцать пять рубле́й ассигна́циями, он не хоте́л ве́рить
э́тому и говори́л, что не мо́жет быть, что́бы стару́ха, кото́-

рая шестьдесят лет жила в богатом доме, всё на руках имела, весь свой век жила скупо и над всякой тряпкой тряслась, чтобы она ничего не оставила. Но это действительно было так.

Наталья Савишна два месяца страдала от своей болезни и переносила страдания с истинно христианским терпением: не ворчала, не жаловалась, а только, по своей привычке, беспрестанно поминала бога. За час перед смертью она с тихою радостью исповедалась, причастилась и соборовалась маслом.

У всех домашних она просила прощенья за обиды, которые могла причинить им, и просила духовника своего, отца Василья, передать всем нам, что не знает, как благодарить нас за наши милости, и просит нас простить её, если по глупости своей огорчила кого-нибудь, «но воробкой никогда не была и могу сказать, что барской ниткой не поживилась». Это было одно качество, которое она ценила в себе.

Надев приготовленный капот и чепчик и облокотившись на подушки, она до самого конца не переставала разговаривать с священником, вспомнила, что ничего не оставила бедным, достала десять рублей и просила его раздать их в приходе; потом перекрестилась, легла и в последний раз вздохнула, с радостной улыбкой, произнося имя божие.

Она оставила жизнь без сожаления, не боялась смерти и приняла её как благо. Часто это говорят, но как редко действительно бывает! Наталья Савишна могла не бояться смерти, потому что она умирала с непоколебимую верою и исполнив закон евангелия. Вся жизнь её была чистая, бескорыстная любовь и самоотвержение.

Что ж! ежели её верования могли бы быть возвышеннее, её жизнь направлена к более высокой цели, разве эта чистая душа от этого меньше достойна любви и удивления?

Она совершила лучшее и величайшее дело в этой жизни — умерла без сожаления и страха.

Её похоронили, по её желанию, недалеко от часовни, которая стоит на могиле матушки. Заросший крапивою и репейником бугорок, под которым она лежит, огорожен чёрною решёткою, и я никогда не забываю из часовни подойти к этой решётке и положить земной поклон.

Иногда я молча останавливаюсь между часовней и чёрной решёткой. В душе моей вдруг пробуждаются тяжёлые воспоминания. Мне приходит мысль: неужели провидение для того только соединило меня с этими двумя существами, чтобы вечно заставить сожалеть о них?..

ОТРОЧЕСТВО

Глава I

ПОЕЗДИКА НА ДОЛГИХ



Снова поданы два экипажа к крыльцу петровского дома: один — карета, в которую садятся Мими, Катенька, Любочка, горничная и сам приказчик Яков, на козлах; другой — бричка, в которой едем мы с Володей и

недавно взятый с оброчка а лакей Василий.

Папа, который несколько дней после нас должен тоже приехать в Москву, без шапки стоит на крыльце и крестит окно кареты и бричку.

«Ну, Христос с вами! трогай!» Яков и кучера (мы едем на своих) снимают шапки и крестятся. «Но, но! с богом!» Кузов кареты и бричка начинают подпрыгивать по неровной дороге, и березы большой аллеи одна за другой бегут мимо нас. Мне не несколько не грустно: умственный взор мой обращен не на то, что я оставляю, а на то, что ожидает меня. По мере удаления от предметов, связанных с тяжелыми воспоминаниями, наполнявшими до сей поры мое воображение, воспоминания эти теряют свою силу и быстро заменяются отрядным чувством сознания жизни, полной силой, свежести и надежды.

Редко провел я несколько дней — не скажу весело: мне еще как-то совестно было предаваться веселью, — но так приятно, хорошо, как четыре дня нашего путешествия. У меня перед глазами не было ни затворенной двери комнаты матушки, мимо которой я не мог проходить без содрогания, ни закрытого рояля, к которому не только не подходили, но на который и смотрели с какою-то боязливостью, ни траурных одежд (на всех нас были простые до-

рожные пла́тья), ни всех тех вещей, кото́рые, живо напоминая́ мне невозврати́мую поте́рю, заставля́ли меня́ остерега́ться ка́ждого проявле́ния жи́зни из стра́ха оскорбить ка́к-нибудь её па́мять. Здесь, напро́тив, беспреста́нно но́вые живопи́сные места́ и предме́ты оста́навливают и развлекáют моё внима́ние, а весённая приро́да вселя́ет в ду́шу отра́дные чу́ства — дово́льства настоящи́м и све́тлой наде́ждой на бу́дущее.

Ра́но, ра́но у́тром безжа́лостный и, как всегда́ быва́ют люди́ в но́вой до́лжности, сли́шком усёрдный Васи́лий сдёргивает одея́ло и уверя́ет, что пора́ е́хать и всё уже́ гото́во. Как ни жме́шься, ни хитри́шь, ни се́рдишься, что́бы хоть ещё́ на че́тверть часа́ продли́ть сла́дкий у́тренний сон, по реши́тельному лицу́ Васи́лья ви́дишь, что он немолíм и гото́в ещё́ два́дцать раз сдё́рнуть одея́ло, вска́киваешь и бежи́шь на двор умыва́ться.

В сенях уже́ кипит самова́р, кото́рый, раскрасне́вшись как рак, раздува́ет Ми́тька-форейтор; на дворе́ сыро́ и тумáнно, как бу́дто пар подыма́ется от пахуче́го наво́за; со́лнышко весёлым, я́рким све́том освеща́ет восто́чную часть не́ба и солбо́менные крýши просто́рных навёсов, окружа́ющих двор, глянцеви́тые от росы́, покрыва́ющей их. Под ни́ми видне́ются на́ши ло́шади, привяза́нные о́коло кормя́г, и слы́шно их ме́рное жева́ние. Кака́я-нибудь мохна́тая Жучка, прикорну́вшая перед зарёй на сухой́ куче́ наво́за, лени́во потя́гивается и, пома́хивая хвостом, ме́лкой рысцо́й отпра́вляется в друго́ую сто́рону двора́. Хлопоту́нья хозяйка́ отворя́ет скрипя́щие воро́та, выгоня́ет задумчи́вых коро́в на у́лицу, по кото́рой уже́ слы́шны́ то́пот, мыча́ние и бле́яние ста́да, и переки́дывается словéчком с со́нной сосе́дкой. Фили́пп, с засученными́ рука́ми руба́шки, вытя́гивает колесо́м ба́дью из глубо́кого колба́ца, плеска́я све́тлую во́ду, вылива́ет её в дубо́вую колба́ду, о́коло кото́рой в лу́же уже́ поло́щутся про́снувшиеся у́тки; и я́ с удово́льствием смотре́ю на значительное, с оклада́истой боро́дой, лицо́ Фили́ппа и на то́лстые жи́лы и му́скулы, кото́рые ре́зко обознача́ются на его́ го́лых мо́щных рука́х, когда́ он де́лает како́е-нибудь усíлие.

За перегоро́дкой, где спала́ Мими́ с де́вочками и из-за кото́рой мы перего́варивались ве́чером, слы́шно движе́нье. Ма́ша с разли́чными предме́тами, кото́рые она́ пла́тьем стара́ется скрыть от на́шего любопы́тства, ча́ще и ча́ще

перебегает мимо нас, наконец отворяется дверь, и нас зовут пить чай.

Василий, в припадке излишнего усердия, беспрестанно вбегает в комнату, выносит то то, то другое, подмигивает нам и всячески упрощивает Матью Ивановну выезжать ранее. Лошади заложены и выражают своё нетерпение, изредка побрякивая бубенчиками; чемоданы, сундуки, шкатулки и шкатулочки снова укладываются, и мы садимся по местам. Но каждый раз в бричке мы находим гору вместо сидения, так что никак не можем понять, как всё это было уложено накануне и как теперь мы будем сидеть; особенно один ореховый чайный ящик с треугольной крышкой, который отдают к нам в бричку и ставят под меня, приводит меня в сильнейшее негодование. Но Василий говорит, что это обомнётся, и я принуждён верить ему.

Солнце только что поднялось над сплошным белым облаком, покрывающим восток, и вся окрестность озарилась спокойно-радостным светом. Всё так прекрасно вокруг меня, а на душе так легко и спокойно... Дорога широкой, дёккой лентой вьётся вперёд, между полями засохшего жнивья и блестящей росью зелени; кое-где при дороге попадается угрюмая ракета или молодая берёзка с мелкими клейкими листьями, бросая длинную неподвижную тень на засохшие глинистые колеи и мелкую зелёную траву дороги... Однообразный шум колёс и бубенчиков не заглушает песен жаворонков, которые выются около самой дороги. Запах съеденного молью сукна, пыли и какой-то кислоты, которым отличается наша бричка, покрывается запахом утра, и я чувствую в душе отрадное беспокойство, желание что-то сделать — признак истинного наслаждения.

Я не успел помолиться на постоялом дворе; но так как уже не раз замечено мною, что в тот день, в который я по каким-нибудь обстоятельствам забываю исполнить этот обряд, со мною случается какое-нибудь несчастье, я стараюсь исправить свою ошибку: снимаю фуражку, поворачиваясь в угол брички, читаю молитвы и крещусь под курточкой так, чтобы никто не видал этого. Но тысячи различных предметов отвлекают моё внимание, и я несколько раз сряду в рассеянности повторяю одни и те же слова молитвы.

Вот на пешеходной тропинке, вьющейся около дороги,

виднеются какие-то медленно движущиеся фигуры: это богомолки. Головы их закутаны грязными платками, за спинами берестовые котомки, ноги обмотаны грязными, оборванными онучами и обуты в тяжёлые лапти. Равномерно размахивая палками и едва оглядываясь на нас, они медленным тяжёлым шагом подвигаются вперёд одна за другою, и меня занимают вопросы: куда, зачем они идут? долго ли продолжится их путешествие, и скоро ли длинные тени, которые они бросают на дорогу, соединятся с тенью ракиты, мимо которой они должны пройти. Вот коляска, четвёркой, на почтовых, быстро несётся навстречу. Две секунды, и лица, на расстоянии двух аршин, приветливо, любопытно смотревшие на нас, уже промелькнули, и как-то странно кажется, что эти лица не имеют со мной ничего общего и что их никогда, может быть, не увидишь больше.

Вот стороной дороги бегут две потные, косматые лошади в хомутах с захлестнутыми за шлей построжками, и сзади, свесив длинные ноги в больших сапогах по обеим сторонам лошади, у которой на холке висит дуга и изредка чуть слышно побрякивает колокольчиком, едет молодой парень ямщик и, сбив на одно ухо поярковую шляпу, тянет какую-то протяжную песню. Лицо и поза его выражают так много ленивого, беспечного довольства, что мне кажется, верх счастья быть ямщиком, ездить обратным и петь грустные песни. Вон далеко за оврагом виднеется на светло-голубом небе деревенская церковь с зелёной крышей; вон село, красная крыша барского дома и зелёный сад. Кто живёт в этом доме? есть ли в нём дети, отец, мать, учитель? Отчего бы нам не поехать в этот дом и не познакомиться с хозяевами? Вот длинный обоз огромных возов, запряжённых тройками сытых толстоногих лошадей, которых мы принуждены объезжать стороной. «Что везёте?» — спрашивает Василий у первого извозчика, который, спустив огромные ноги с грядок и поманивая кнутиком, долго пристально-бессмысленным взором следит за нами и отвечает что-то только тогда, когда его невозможно слышать. «С каким товаром?» — обращается Василий к другому возу, на огороженном передке которого, под новой рогожей, лежит другой извозчик. Русая голова с красным лицом и рыжеватой бородкой на минуту высовывается из-под рогожи, равнодушно-презрительным взглядом окидывает нашу бричку

и снова скрывается — и мне приходят мысли, что, верно, эти извозчики не знают, кто мы такие и откуда и куда едем?..

Часа полтора углублённый в разнообразные наблюдения, я не обращаю внимания на кривые цифры, выставленные на верстах. Но вот солнце начинает жарче печь мне голову и спину, дорога становится пыльнее, треугольная крышка чайницы начинает сильно беспокоить меня, я несколько раз переменяю положение: мне становится жарко, неловко и скучно. Всё моё внимание обращается на верстовые столбы и на цифры, выставленные на них; я делаю различные математические вычисления насчёт времени, в которое мы можем приехать на станцию. «Двенадцать верст составляют треть тридцати шести, а до Липец сорок одна, следовательно, мы проехали одну треть и сколько?» и т. д.

— Василий, — говорю я, когда замечаю, что он начинает *удить рыбу* на козлах, —пусти меня на козлы, голубчик. — Василий соглашается. Мы переменяем места: он тотчас же начинает храпеть и разваливается так, что в бричке уже не остаётся больше ни для кого места; а передо мной открывается с высот, которую я занимаю, самая приятная картина: наши четыре лошади, Неручинская, Дьячок, Левая коренная и Аптекарь, все изученные мною до малейших подробностей и оттенков свойств каждой.

— Отчего это нынче Дьячок на правой пристяжке, а не на левой, Филипп? — несколько робко спрашиваю я.

— Дьячок?

— А Неручинская ничего не везёт, — говорю я.

— Дьячка нельзя налево впрягать, — говорит Филипп, не обращая внимания на моё последнее замечание, — не такая лошадь, чтоб его на левую пристяжку запрягать. Налево уж нужно такую лошадь, чтоб, одно слово, была лошадь, а это не такая лошадь.

И Филипп с этими словами нагибается на правую сторону и, подёргивая вожжой из всех сил, принимается стегать бедного Дьячка по хвосту и по ногам, как-то особенным манером, снизу, и, несмотря на то что Дьячок старается из всех сил и воротит всю бричку, Филипп прекращает этот манёвр только тогда, когда чувствует необходимость отдохнуть и сдвинуть неизвестно для чего свою шляпу на один бок, хотя она до этого очень хорошо

и плóтно сидéла на его́ головé. Я пользуюсь тако́й счастливой мину́той и прошу́ Фили́ппа дать мне *попра́вить*. Фили́пп даéт мне сна́чала одну́ вожжю́, потóм другу́ю; наконéц все шесть вожжéй и кнут переходят в мой рúки, и я совершéнно счáстлив. Я стара́юсь вся́чески подража́ть Фили́ппу, спра́шиваю у него́, хоро́шо ли? но обыкнове́нно конча́ется тем, что он остаётся мно́ю недово́лен: говорит, что та мно́го везёт, а та ничегó не везёт, высóбывает лóкоть из-за моéй грудí и отнимаёт у меня́ во́жжи. Жар всё уси́ливается, бара́шки начина́ют вздува́ться, как мыльные пузыри́, в́ше и в́ше, сходíться и принима́ть тёмно-сéрые тéни. В окно́ карéты высóбывается рука́ с бутылкóй и узелкóм; Васи́лий, с удивíteльной лóбкостью, на ходу́ соска́кивает с кóзел и принóсит нам ватру́шек и квáсу.

На крутóм спúске мы все выхóдим из экипа́жей и иногдá вперегонки бе́жим до мéста, мéжду тем как Васи́лий и Яков, подтормозíв колéса, с обéих сторóн рука́ми поддérживают карéту, как бúдто они́ в состоя́нии удержа́ть её, е́жели бы она́ упáла. Потóм, с позво́ления Мими́, я и́ли Волóдя отпра́вляемся в карéту, а Любóчка и́ли Ка́тенька садя́тся в брíчку. Перемещéния э́ти доставля́ют большо́е удовóльствие дéвочкам, потому́ что они́ справедливо́ находят, что в брíчке горáздо веселéй. Иногдá во врéмя жáра, проезжа́я чéрез рóщу, мы остаём от карéты, нарыва́ем зелéных вéток и устраиваем в брíчке бесéдку. Дви́жущаяся бесéдка во весь дух догоня́ет карéту, и Любóчка пищít при э́том са́мым пронзíteльным гóлосом, чегó она́ никогда́ не забывáет дéлать при ка́ждом слúчае, доставля́ющем ей большо́е удовóльствие.

Но вот и деревня́, в котóрой мы бúдем обéдать и отды́хать. Вот ужé запа́хло деревней — дýмом, дéгтем, бара́нками, слы́шались звúки гóвора, шагóв и колéс; бубéнчики ужé звенят не так, как в чíстом пóле, и с обéих сторóн мелька́ют íзбы, с солóменными крóвлями, резными тесóвыми крылечками и ма́ленькими óкнами с красными и зелéными ста́внями, в котóрые кое-гдé просóвывается лицó любопы́тной ба́бы. Вот крестья́нские ма́льчики и дéвочки в одних рубашóнках: широко раскрыв глаза́ и растопы́рив рúки, неподви́жно стоят они́ на одном мéсте и́ли, бы́стро семеня́ в пыли́ босы́ми ножóнками, несмотря́ на угрожа́ющие жéсты Фили́ппа, бегу́т за экипа́жами и стара́ются взобрáться на чемодáны, при-

вѣзанные сѣди. Вот и рыжеватые дворники с обѣих сторон подбѣгают к экипажам и привлекательными словами и жестами один перед другим стараются заманить проезжающих. Тпруу! Ворота скрипят, вальки цепляют за воротаща, и мы въезжаем на двор. Четыре часа отдыха и свободы!

Глава II

ГРОЗА



Солнце склонялось к западу и косыми жаркими лучами невыносимо жгло мне шею и щеки; невозможно было дотронуться до раскаленных краев брочки; густая пыль поднималась по дороге и наполняла воздух. Не было ни малейшего ветерка, который бы относил её. Вперед нас, на одинаковом

расстоянии, мерно покачивался высокий, запыленный кузов кареты с важами, из-за которого виднелся изредка кнут, которым помахивал кучер, его шляпа и фуражка Якова. Я не знал, куда деваться; ни черное от пыли лицо Володи, дремавшего подле меня, ни движения спины Филиппа, ни длинная тень нашей брочки, под косым углом бежавшая за нами, не доставляли мне развлечения. Всё моё внимание было обращено на верстовые столбы, которые я замечал издали, и на облака, прежде рассыпанные по небосклону, которые, приняв зловещие, черные тени, теперь собирались в одну большую, мрачную тучу. Изредка погромыхивал дальний гром. Это последнее обстоятельство более всего усиливало моё нетерпение скорее приехать на постоянный двор. Гроза наводила на меня невыразимо тяжёлое чувство тоски и страха.

До ближайшей деревни оставалось ещё верст десять, а большая темно-лиловая туча, взявшаяся бог знает откуда, без малейшего ветра, но быстро подвигалась к нам. Солнце, ещё не скрытое облаками, ярко освещает её мрачную фигуру и серые полосы, которые от неё идут до самого горизонта. Изредка вдалеке вспыхивает молния

и слышится слабый гул, постепенно усиливающийся, приближающийся и переходящий в прерывистые раскаты, обнимающие весь небосклон. Василий приподнимается с козел и поднимает верх брочки; кучера надевают армяки и при каждом ударе грома снимают шапки и крестятся; лошади настороживают уши, раздувают ноздри, как будто приближаясь к свежему воздуху, которым пахнет от приближающейся тучи, и брочка скорее катит по пыльной дороге. Мне становится жутко, и я чувствую, как кровь быстрее обращается в моих жилах. Но вот передовые облака уже начинают закрывать солнце; вот оно выглянуло в последний раз, осветило страшно-мрачную сторону горизонта и скрылось. Вся окрестность вдруг изменяется и принимает мрачный характер. Вот задрожала осиновая роща; листья становятся какого-то бело-мутного цвета, ярко выдающегося на лиловом фоне тучи, шумят и вертятся; макушки больших берёз начинают раскачиваться, и пучки сухой травы летят через дорогу. Стрижи и белогрудые ласточки, как будто с намерением остановить нас, реют вокруг брочки и пролетают под самой грудью лошадей; галки с растрепанными крыльями как-то боком летают по ветру; край кожаного фартука, которым мы застегнулись, начинают подниматься, пропускать к нам порывы влажного ветра и, размахиваясь, биться о козы брочки. Молния вспыхивает как будто в самой брочке, ослепляет зрение и на одно мгновение освещает серое сукно, басон и прижавшуюся к углу фигуру Володи. В ту же секунду над самой головой раздаётся величественный гул, который, как будто поднимаясь всё выше и выше, шире и шире, по огромной спиральной линии, постепенно усиливается и переходит в оглушительный треск, нёбольшо заставляющий трепетать и сдерживать дыхание. Гнев божий! Как много поэзии в этой простонародной мысли!

Колёса вертятся скорее и скорее; по спинам Василия и Филиппа, который нетерпеливо помахивает вожжами, я замечаю, что и они боятся. Брочка шибко катится по тору и стучит по дощатому мосту; я боюсь пошевелиться и с минуты на минуту ожидаю нашей общей гибели.

Тпру! оторвался валёк, и на мосту, несмотря на беспрерывные оглушительные удары, мы принуждены остановиться.

Прислонив голову к краю брочки, я с захватывающим

дыхание замиранием сердца безнадежно слежу за движениями толстых черных пальцев Филиппа, который медленно захлестывает петлю и выравнивает постромки, толкая пристяжную ладонью и кнутовищем.

Тревожные чувства тоски и страха увеличивались во мне вместе с усилением грозы, но когда пришла величественная минута безмолвия, обыкновенно предшествующая разражению грозы, чувства эти дошли до такой степени, что, продолжись это состояние еще четверть часа, я уверен, что умер бы от волнения. В это самое время из-под моста вдруг появляется, в одной грязной дырявой рубахе, какое-то человеческое существо с опухшим бессмысленным лицом, качающейся, ничем не покрытой, обстриженной головой, кривыми безмускульными ногами и с какой-то красной, гляцевитой культяпкой вместо руки, которую он суёт прямо в бричку.

— Ба-а-шка! уб-о-го-му хри-ста ра-ди,— звучит болезненный голос, и нищий с каждым словом крестится и кланяется в пояс.

Не могу выразить чувства холодного ужаса, охватившего мою душу в эту минуту. Дрожь пробежала по моим волосам, а глаза с бессмыслием страха были устремлены на нищего...

Василий, в дороге подающий милостыню, даёт наставление Филиппу насчёт укрепления валька и, только когда всё уже готово и Филипп, собирая вожжи, лезет на козлы, начинает что-то доставать из бокового кармана. Но только что мы трогаясь, ослепительная молния, мгновенно наполняя огненным светом всю лошину, заставляет лошадей остановиться и, без малейшего промежутка, сопровождается таким оглушительным треском грома, что кажется, весь свод небес рухнет над нами. Ветер ещё усиливается: гривы и хвосты лошадей, шинель Василья и край фартука принимают одно направление и отчаянно развеваются от порывов неистового ветра. На кожаный верх брички тяжело упала крупная капля дождя... другая, третья, четвертая, и вдруг как будто кто-то забарабанил над нами, и вся окрестность огласилась равномерным шумом падающего дождя. По движениям локтей Василья я замечаю, что он развязывает кошелек: нищий, продолжая креститься и кланяться, бежит подле самых колёс, так что, того и гляди, раздавят его. «Подай хри-ста ра-ди». Наконец медный грош летит

мимо нас, и жалкое создáнье, в обтяну́вшем его худые члены, промóкшем до нитки рúбище, качáясь от вéтра, в недоумéнии останáвливается посреди́ дорóги и исче-зáет из моих глаз.

Косой́ дождь, гонимый сильным вéтром, лил как из ведра́; с фрízовой спи́ны Васи́лья текли потóки в лúжу мутной воды́, образова́вшуюся на фáртуке. Сначала́ сбита́я кáтышками пыль превратилась в жидкую грязь, кото́рую месилы колéса, толчки́ ста́ли меньше, и по глинистым колея́м потекли мутные ручьи́. Мо́лния свети́ла шире и бледнее, и раскáты грóма уже́ бы́ли не так порази́тельны за равномерным шумом дождя́.

Но вот дождь станов́ится мельче; туча начина́ет разделя́ться на волнистые облака́, светле́ть в том мéсте, в кото́ром должно́ быть со́лнце, и сквозь серова́то-бе́лые края́ тучи чуть видне́ется клочо́к ясной лазу́ри. Че́рез мину́ту робкий луч со́лнца уже́ блестит в лúжах дорóги, на полосáх па́дающего, как сквозь сито́, мёлкого прямóго дождя́ и на обмо́той, блестящей зéлени дорóжной травы́. Че́рная туча так же грóзно засти́лает противополо́жную сто́рону небоскло́на, но я уже́ не бою́сь её. Я испы́ываю невыра́зимо-отра́дное чу́вство наде́жды в жизни, бы́стро заме́няющее во мне тяжёлое чу́вство стра́ха. Душа́ моя улыба́ется так же, как и освеже́нная, повеселе́вшая приро́да. Васи́лий отки́дывает воротни́к шинéли, снимáет фура́жку и отрýхивает её; Во́лдя отки́дывает фáртук; я высóвываюсь из брiчки и жа́дно впи́ваю в себя́ освеже́нный, души́стый во́здух. Блестя́щий, обмо́тый ку́зов карéты с ва́жами и чемодáнами пока́чивается перед на́ми, спи́ны лошаде́й, шлей, во́жжи, ши́ны колéс — всё мо́кро и блестит на со́лнце, как покры́тое ла́ком. С одной́ сто́роны дорóги — необозри́мое озимое по́ле, кое-где перерéзанное неглубо́кими овра́жками, блестит мо́крой земле́ю и зéленью и рассти́ляется тени́стым ковро́м до са́мого гори́зонта; с друго́й сто́роны — осино́вая рóща, порóсшая оре́ховым и черёмушным подсе́дом, как бы в избы́тке сча́стия стои́т, не шелохне́тся и ме́дленно роня́ет с своих обмо́тых ветве́й све́тлые ка́пли дождя́ на сухие прошлогóдние ли́стья. Со всех сто́рон вы́ются с весёлой пéснью и бы́стро па́дают хохла́тые жа́воронки; в мо́крых куста́х слы́шно хлопотли́вое движе́ние ма́леньких пти́чек, и из середíны рóщи ясно долетáют зву́ки куку́шки. Так обая́телен э́тот чудесный за́пах ле́са после́ весéнной грозы́, за́пах берёзы,

фийлки, прѣлого листа, сморчков, черѣмухи, что я не могу усидѣть в брѣчке, соскакиваю с подножки, бегу к кустам и, несмотря на то что меня осыпает дождевыми каплями, рву мокрые ветки распустившейся черѣмухи, бью себя ими по лицу и упиваюсь их чудным запахом. Не обращая даже вниманія на то, что к сапогам моим липнут огромные комки грязи и чулки мой давно уже мокры, я, шлепая по грязи, бегу к окну кареты.

— Любочка! Катенька! — кричу я, подавая туда несколько веток черѣмухи, — посмотри, как хорошо!

Дѣвочки пищат, ахают; Мимі кричит, чтобы я ушел, а то меня непременно раздавят.

— Да ты понюхай, как пахнет! — кричу я.

Глава III

НОВЫЙ ВЗГЛЯД



Катенька сидела подле меня в брѣчке и, склонив свою хорошенькую головку, задумчиво следила за убегавшей под колесами пыльной дорогой. Я молча смотрел на неё и

удивлялся тому не детски грустному выражению, которое в первый раз встречал на её розовеньком личике.

— А вот скоро мы и приедем в Москву, — сказал я, — как ты думаешь, какая она?

— Не знаю, — отвечала она нехотя.

— Ну всё-таки, как ты думаешь: больше Серпухова или нет?..

— Что?

— Я ничего.

Но по тому инстинктивному чувству, которым один человек угадывает мысли другого и которое служит путеводною нитью разговора, Катенька поняла, что мне больно её равнодушие; она подняла голову и обратилась ко мне:

— Папа говорил вам, что мы будем жить у бабушки?

— Говорил; бабушка хочет совсем с нами жить,

— И все будем жить?

— Разумеется; мы будем жить на верху в одной половине; вы в другой половине; а папа во флигеле, а обедать будем все вместе, внизу у бабушки.

— Мама говорит, что бабушка такая важная — сердитая?

— Не-ет! Это только так кажется сначала. Она важная, но совсем не сердитая; напротив, очень добрая, веселая. Коли бы ты видела, какой бал был в её именины!

— Всё-таки я боюсь её; да, впрочем, бог знает, будем ли мы...

Катенька вдруг замолчала и опять задумалась.

— Что-о? — спросил я с беспокойством.

— Ничего, я так.

— Нет, ты что-то сказала: «Бог знает...»

— Так ты говорил, какой был бал у бабушки.

— Да вот жалко, что вас не было; гостей было прорать, человек тысяча, музыка, генералы, и я танцевал... Катенька! — сказал я вдруг, останавливаясь в середине своего описания, — ты не слушаешь?

— Нет, слышу; ты говорил, что ты танцевал.

— Отчего ты такая скучная?

— Не всегда же веселой быть.

— Нет, ты очень переменялась с тех пор, как мы приехали из Москвы. Скажи по правде, — прибавил я с решительным видом, поворачиваясь к ней, — отчего ты стала какая-то странная?

— Будто я странная? — отвечала Катенька с одушевлением, которое доказывало, что моё замечание интересовало её, — я совсем не странная.

— Нет, ты уж не такая, как прежде, — продолжал я, — прежде видно было, что ты во всём с нами заодно, что ты нас считаешь как родными и любишь так же, как и мы тебя, а теперь ты стала такая серьёзная, удаляешься от нас...

— Совсем нет...

— Нет, дай мне договорить, — перебил я, уже начиная ощущать лёгкое щекотанье в носу, предшествующее слезам, которые всегда навёртывались мне на глаза, когда я высказывал давно сдержанную задушевную мысль, — ты удаляешься от нас, разговариваешь только с Мимй, как будто не хочешь нас знать.

— Да ведь нельзя же всегда оставаться одинаковы-

ми; надобно когда-нибудь и перемениться, — отвечала Катенька, которая имела привычку объяснять всё какую-то фаталистическую необходимостью, когда не знала, что говорить.

Я помню, что раз, поссорившись с Любочкой, которая назвала её *глупой девочкой*, она отвечала: не всем же умным быть, надо и глупым быть; но меня не удовлетворил ответ, что надо же и перемениться когда-нибудь, и я продолжал допрашивать:

— Для чего же это надо?

— Ведь не всегда же мы будем жить вместе, — отвечала Катенька, слегка краснея и пристально взглядываясь в спину Филиппа. — Маменька могла жить у покойницы вашей маменьки, которая была её другом; а с графиней, которая, говорят, такая сердитая, ещё бог знает, сойдётся ли они? Кроме того, всё-таки когда-нибудь да мы разойдёмся: вы богаты — у вас есть Петровское, а мы бедные — у маменьки ничего нет.

Вы богаты — мы бедны: эти слова и понятия, связанные с ними, показались мне необыкновенно странны. Бедными, по моим тогдашним понятиям, могли быть только нищие и мужики, и это понятие бедности я никак не мог соединить в своём воображении с грациозной, хорошенькой Катей. Мне казалось, что Мимми и Катенька ежели всегда жили, то всегда и будут жить с нами и делить всё поровну. Иначе и быть не могло. Теперь же тысячи новых, неясных мыслей, касательно одинокого положения их, заройлись в моей голове, и мне стало так совестно, что мы богаты, а они бедны, что я покраснел и не мог решиться взглянуть на Катеньку.

«Что ж такое, что мы богаты, а они бедны? — думал я, — и каким образом из этого вытекает необходимость разлуки? Отчего ж нам не разделить поровну того, что имеем?» Но я понимал, что с Катенькой не годится говорить об этом, и какой-то практический инстинкт, в противоположность этим логическим размышлениям, уже говорил мне, что она права и что неуместно бы было объяснять ей свою мысль.

— Неужели точно ты уедешь от нас? — сказал я, — как же это мы будем жить врозь?

— Что же делать, мне самой больно; только ежели это случится, я знаю, что я сделаю...

— В актрисы пойдёшь... вот глупости! — подхватил

я, зная, что быть актрисой было всегда любимой мечтой её.

— Нет, это я говорила, когда была маленькой...

— Так что же ты сделаешь?

— Пойду в монастырь и буду там жить, буду ходить в черненьком платьице, в бархатной шапочке.

Катенька заплакала.

Случалось ли вам, читатель, в известную пору жизни, вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другой, неизвестной ещё стороной? Такого рода моральная перемена произошла во мне в первый раз во время нашего путешествия, с которого я и считаю начало моего отрочества.

Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, то есть наше семейство, живём на свете, что не все интересы вращаются около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании. Без сомнения, я и прежде знал всё это; но знал не так, как я это узнал теперь, не создавал, не чувствовал.

Мысль переходит в убеждение только одним известным путём, часто совершенно неожиданным и особенным от путей, которые, чтобы приобрести то же убеждение, проходят другие умы. Разговор с Катенькой, сильно тронувший меня и заставивший задуматься над её будущим положением, был для меня этим путём. Когда я глядел на деревни и города, которые мы проезжали, в которых в каждом доме жило по крайней мере такое же семейство, как наше, на женщин, детей, которые с минутным любопытством смотрели на экипаж и навсегда исчезали из глаз, на лавочников, мужиков, которые не только не кланялись нам, как я привык видеть это в Петровском, но не удостоивали нас даже взглядом, мне в первый раз пришёл в голову вопрос: что же их может занимать, ежели они несколько не заботятся о нас? и из этого вопроса возникли другие: как и чем они живут, как воспитывают своих детей, учат ли их, пускают ли играть, как наказывают? и т. д.

В МОСКВЕ



С приездом в Москву перемена моего взгляда на предметы, лица и своё отношение к ним стала ещё ощутительнее.

При первом свидании с бабушкой, когда я увидал её худое, морщинистое лицо и потухшие глаза, чувство подобострастного уважения и страха, которые я к ней испытывал, заменились состраданием; а когда она, припав лицом к голове

Любочки, зарыдала так, как будто перед её глазами был труп её любимой дочери, даже чувством любви заменилось во мне сострадание. Мне было неловко видеть её печаль при свидании с нами; я сознавал, что мы сами по себе ничто в её глазах, что мы ей дороги только как воспоминание, я чувствовал, что в каждом поцелуе, которыми она покрывала мой щеки, выражалась одна мысль: её нет, она умерла, я не увижу её больше!

Папа, который в Москве почти совсем не занимался нами и с вечно озабоченным лицом только к обеду приходил к нам, в чёрном сюртуке или фраке, — вместе с своими большими выпущенными воротничками рубашки, халатом, старостами, приказчиками, прогулками на гумно и охотой, много потерял в моих глазах. Карл Иванович, которого бабушка называла *дядькой* и который вдруг, бог знает зачём, вздумал заменить свою почтенную, знакомую мне лысину рыжим париком с нитяным пробором почти посередине головы, показался мне так странен и смешон, что я удивлялся, как мог я прежде не замечать этого.

Между девочками и нами тоже появилась какая-то невидимая преграда; у них и у нас были уж свои секреты; как будто они гордились перед нами своими юбками, которые становились длиннее, а мы своими панталонами со штрипками. Мими же в первое воскресенье вышла к обеду в таком пышном платье и с такими лентами на голове, что уж сейчас видно было, что мы не в деревне и теперь всё пойдёт иначе.

СТАРШИЙ БРАТ



Я был только годом и несколькими месяцами моложе Володи; мы росли, учились и играли всегда вместе. Между нами не делали различия старшего и младшего; но именно около того времени, о котором я говорю, я начал понимать, что Володя не товарищ мне по годам, наклонностям и способностям. Мне даже казалось, что Володя сам сознаёт своё первенство и гордится им. Такое убеждение, может быть и ложное, внушало мне самолюбие, страдавшее при каждом столкновении с ним. Он во всём стоял выше меня: в забавах, в учёнии, в ссорах, в умении держать себя, и всё это отдаляло меня от него и заставляло испытывать непонятные для меня моральные страдания. Ежели бы, когда Володе в первый раз сделали голландские рубашки со складками, я сказал прямо, что мне весьма досадно не иметь таких, я уверен, что мне стало бы легче и не казалось бы всякий раз, когда он оправлял воротнички, что он делает это для того только, чтобы оскорбить меня.

Меня мучило больше всего то, что Володя, как мне иногда казалось, понимал меня, но старался скрывать это.

Кто не замечал тех таинственных бессловесных отношений, проявляющихся в незамётной улыбке, движении или взгляде между людьми, живущими постоянно вместе: братьями, друзьями, мужем и женой, господином и слугой, в особенности когда люди эти не во всём открыты между собой. Сколько недосказанных желаний, мыслей и страха — быть понятым — выражается в одном случайном взгляде, когда робко и нерешительно встречаются ваши глаза!

Но, может быть, меня обманывала в этом отношении моя излишняя восприимчивость и склонность к анализу; может быть, Володя совсем и не чувствовал того же, что я. Он был пылок, откровенен и непостоянен в своих увлечениях. Увлекаясь самыми разнообразными предметами, он предавался им всей душой.

То вдруг на него находила страсть к картинкам: он сам принимался рисовать, покупал на все свои деньги, выпрашивал у рисовального учителя, у папы, у бабушки; то страсть к вещам, которыми он украшал свой столик, собирая их по всему дому, то страсть к романам, которые он доставал потихоньку и читал по целым дням и ночам... Я невольно увлекался его страстями; но был слишком горд, чтобы идти по его следам, и слишком молод и несамостоятелен, чтобы избрать новую дорогу. Но ничему я не завидовал столько, как счастливому, благородно-откровенному характеру Володи, особенно резко выражавшемуся в ссорах, случавшихся между нами. Я чувствовал, что он поступает хорошо, но не мог подражать ему.

Однажды, во время сильнейшего пыла его страсти к вещам, я подошел к его столу и разбил нечаянно пустой разноцветный флакончик.

— Кто тебя просил трогать мои вещи? — сказал вошедший в комнату Володя, заметив расстройство, произведенное мною в симметрии разнообразных украшений его столика. — А где флакончик? непременно ты...

— Нечаянно уронил; он и разбился, что ж за беда?

— Сделай милость, никогда не смей прикасаться к моим вещам, — сказал он, составляя куски разбитого флакончика и с сокрушением глядя на них.

— Пожалуйста, не командуй, — отвечал я. — Разбил так разбил; что ж тут говорить!

И я улыбнулся, хотя мне совсем не хотелось улыбаться.

— Да, тебе ничего, а мне чего, — продолжал Володя, делая жест подергивания плечом, который он наследовал от папы, — разбил, да еще и смеется, этаким несносным мальчишка!

— Я мальчишка; а ты большой, да глупый.

— Не намерен с тобой браниться, — сказал Володя, слегка отгалькивая меня, — убирайся.

— Не толкайся!

— Убирайся!

— Я тебе говорю, не толкайся!

Володя взял меня за руку и хотел оттащить от стола; но я уже был раздражен до последней степени: схватил стол за ножку и опрокинул его. «Так вот же тебе!» — и все

фарфóровые и хрустáльные украшéния с дрéбезгом полетéли нá пол.

— Отвратительный мальчишка!..— закричал Володя, стараясь поддержать падающие вещи.

«Ну, тепёр всё кончено между нами,— думал я, выходя из комнаты,— мы навёк поссорились».

До вéчера мы не говорили друг с другом; я чувствовал себя виноватым, боялся взглянуть на него и целый день не мог ничём заняться; Володя, напротив, учился хорошо и, как всегда, после обеда разговаривал и смеялся с девочками.

Как только учитель кончал класс, я выходил из комнаты: мне страшно, неловко и совестно было оставаться одному с братом. После вечернего класса истории я взял тетради и направился к двери. Проходя мимо Володи, не смотря на то, что мне хотелось подойти и помириться с ним, я надулся и старался сделать сердитое лицо. Володя в это самое время поднял голову и с чуть заметной, добродушно насмешливой улыбкой смело посмотрел на меня. Глаза наши встретились, и я понял, что он понимает меня и то, что я понимаю, что он понимает меня; но какое-то непреодолимое чувство заставило меня отвернуться.

— Никóленька! — сказал он мне самым простым, насколько не патетическим голосом,— полно сердиться. Извини меня, ежели я тебя обидел.

И он подал мне руку.

Как будто поднимаясь всё выше и выше, что-то вдруг стало давить меня в груди и захватывать дыхание; но это продолжалось только одну секунду: на глазах показались слёзы, и мне стало легче.

— Прости... ме...ня, Воло...дя! — сказал я, пожимая его руку.

Володя смотрел на меня, однако, так, как будто никак не понимал, отчего у меня слёзы на глазах...

МАША



Но ни одна из перемен, происшедших в моём взгляде на вещи, не была так поразительна для самого меня, как та, вследствие которой в одной из наших горничных я перестал видеть слугу женского пола, а стал видеть *женщину*, от которой могли зависеть, в некоторой степени, моё спокойствие и счастье.

С тех пор как помню себя, помню я и Машу в нашем доме, и никогда, до случая, пережившего совершенно мой взгляд на неё и про который я расскажу сейчас, — я не обращал на неё ни малейшего внимания. Маше было лет двадцать пять, когда мне было четырнадцать; она была очень хороша; но я боюсь описывать её, боюсь, чтобы воображение снова не представило мне обворожительный и обманчивый образ, составившийся в нём во время моей страсти. Чтобы не ошибиться, скажу только, что она была необыкновенно белая, роскошно развита и была женщина; а мне было четырнадцать лет.

В одну из тех минут, когда, с уроком в руке, занимаешься прогулкой по комнате, стараясь ступать только по одним щелям половиц, или пением какого-нибудь несообразного мотива, или размазыванием чернил по краю стола, или повторением без всякой мысли какого-нибудь изречения — одним словом, в одну из тех минут, когда ум отказывается от работы, и воображение, взяв верх, ищет впечатлений, я вышел из классной и без всякой цели спустился к площадке.

Кто-то в башмаках шёл вверх по другому повороту лестницы. Разумеется, мне захотелось знать, кто это, но вдруг шум шагов замолк, и я услышал голос Маши: «Ну вас, что вы балуетесь, а как Мария Ивановна придёт — разве хорошо будет?»

«Не придёт», — шепотом сказал голос Володи, и вслед за этим что-то зашевелилось, как будто Володя хотел удержать её.

«Ну, куда руки суёте? Бесстыдник!» — и Маша, с сдёр-

нутой náбок косы́нкой, из-под кото́рой видне́лась бе́лая, по́лная ше́я, пробежа́ла ми́мо меня́.

Не могу́ вы́разить, до како́й стéпени меня́ изуми́ло э́то откры́тие, одна́ко чу́вство изумле́ния ско́ро уступи́ло ме́сто сочу́вствию посту́пки Воло́ди: меня́ уже́ не удиви́лял са́мый егó посту́пок, но то, како́им о́бразом он пости́г, что приятно́ так посту́пать. И мне нево́льно захоте́лось подража́ть ему́.

Я по це́лым часа́м проводи́л ино́гда на площа́дке, без всяко́й мы́сли, с напряже́нным внима́нием прислу́шиваясь к мале́йшим движе́ниям, происходи́вшим наверху́; но нико́гда не мог прину́дить себя́ подража́ть Воло́де, несмотря́ на то что мне э́того хоте́лось больше́ всего́ на све́те. Ино́гда, притайвши́сь за двéрью, я с тяжёлым чу́вством за́висти и ре́вности слу́шал возню́, кото́рая подни́малась в де́вичьей, и мне приходи́ло в го́лову: како́во бы бы́ло моё́ положéние, е́жели бы я пришёл на верх и так же, как Воло́дя, захоте́л бы поцелова́ть Ма́шу? что бы я сказа́л с сво́им широ́ким но́сом и торча́вшими вихра́ми, когда́ бы она́ спроси́ла у меня́, чего́ мне ну́жно? Ино́гда я слы́шал, как Ма́ша говори́ла Воло́де: «Вот наказа́нье! Что же вы, в са́мом де́ле, приста́ли ко мне, иди́те отсю́да, шалу́н э́такой... отчего́ Никола́й Петро́вич нико́гда не ходит сю́да и не дура́чится...» Она́ не зна́ла, что Никола́й Петро́вич сиди́т в э́ту мину́ту под ле́стницею и всё на све́те гото́в отда́ть, что́бы то́лько быть на ме́сте шалу́на Воло́ди.

Я был стыдл́ив от приро́ды, но стыдл́ивость моё́ ещё́ увели́чивалась убе́ждением в моё́й урóдливости. А я убе́ждён, что ничто́ не имéет тако́го рази́тельного влия́ния на направле́ние челове́ка, как нару́жность егó, и не сто́лько са́мая нару́жность, ско́лько убе́ждение в привле́кательности́ или непривлекательности́ её́.

Я был сли́шком самолю́бив, что́бы приви́кнуть к сво́ему́ положéнню, утеша́лся, как лиси́ца, уверя́я себя́, что виногра́д ещё́ зéлен, то есть стара́лся презира́ть все удо́вольствия, доставля́емые приятно́й нару́жностью, кото́рыми на мо́их глаза́х пользо́вался Воло́дя и кото́рым я от ду́ши завидовал, и напряга́л все си́лы своего́ ума́ и воображе́ния, что́бы находить насла́ждения в го́рдом одино́честве.

ДРОБЬ



— Бóже мой, пóрох!.. — воскликнула Мимí задыхáющимся от волнénия гóлосом. — Чтo вы дéлаете? Вы хотíte сжечь дом, погубить всех нас..

И с неопísанным выражénием твёрдости дýха Мимí приказáла всем постoрониться, больш́ими, решительными шага́ми подошла́ к рассыпанной дрóби и, презирая опáсность, могу́щую произойти́ от неож́иданного взрыва́, начала́ топтáть её нога́ми. Когда́, по её мнénию, опáсность ужé миновáлась, она́ позвала́ Михéя и приказáла ему́ выбросить весь этот пóрох куда́-нибудь подáльше, или, всего́ луч́ше, в воду́, и, гóрдо встрáхивая чепцóm, направилась к гостинóй. «Очень хоро́шо за ними смóтрят, нéчего сказа́ть», — проворчала́ она́.

Когда́ папа́ пришёл из фли́геля и мы вме́сте с ним пошли́ к ба́бушке, в ко́мнате её ужé сидéла Мимí о́коло окна́ и с каким-то тайнственнo-официáльным выражénием грóзно смотрела́ мíмо двéри. В руке́ её находилось́ чтó-то завёрнутое в нéсколько бума́жек. Я догадался́, что этó была́ дрóвь и что ба́бушке ужé всё извёстно.

Крóме Мимí, в ко́мнате ба́бушки находились́ ещё́ гóрничная Га́ша, котóрая, как замéтно б́ыло по её гнéвному, раскраснévшемуся лицу́, была́ сýльно расстрóбена, и доктор Блюментáль, мáленький, рябовáтый человек, котóрый тщéтно старáлся успокоить Га́шу, дéлая ей глаза́ми и головóй тайнственные миротвóрные зна́ки.

Самá ба́бушка сидéла нéсколько бóком и раскля́дывала пасьянс — *Путешéственник*, что всегда́ означáло весьма́ неблагоприя́тное расположénие дýха.

— Как себя́ чýвствуете ны́нче, татап? хоро́шо ли почивáли? — сказа́л папа́, почтительно́ целу́я её рýку.

— Прекрасно́, мой мýлый; ка́жется, знáете, что я всегда́ совершénно здоро́ва, — отвéчала ба́бушка таким тóном, как б́удто вопрós папа́ был сáмый неумéстный и оскорбительный вопрós. — Чтo ж, хотíte вы мне дать чистый платок? — продолжала́ она́, обращáясь к Га́ше.

— Я вам подáла, — отвéчала Га́ша, ука́зывая на бé-

лый, как снег, батистовый платок, лежавший на ручке кресел.

— Возьмите эту грязную ветوشку и дайте мне чистый, моя милая.

Гаша подошла к шифоньерке, выдвинула ящик и так сильно хлопнула им, что стекла задрожали в комнате. Бабушка грозно оглянулась на всех нас и продолжала пристально следить за всеми движениями горничной. Когда она подала ей, как мне показалось, тот же самый платок, бабушка сказала:

— Когда же вы мне натрете табак, моя милая?

— Вре́мя бу́дет, так натру́.

— Что вы говорите?

— Натру́ ны́нче.

— Если вы не хотите мне служить, моя милая, вы бы так и сказали: я бы давно вас отпустила.

— И отпустите, не заплачут,— проворчала вполголоса горничная.

В это время доктор начал было мигать ей; но она так гневно и решительно посмотрела на него, что он тотчас же потупился и занялся ключиком своих часов.

— Видите, мой милый,— сказала бабушка, обращаясь к папе, когда Гаша, продолжая ворчать, вышла из комнаты,— как со мной говорят в моём доме?

— Позвольте, татап, я сам натру вам табак,— сказал папа, приведённый, по-видимому, в большое затруднение этим неожиданным обращением.

— Нет уж, благодарю вас: она ведь оттого так и груба, что знает, никто, кроме неё, не умеет стереть табак, как я люблю. Вы знаете, мой милый,— продолжала бабушка после минутного молчания,— что ваши дети нынче чуть было дом не сожгли?

Папа с почтительным любопытством смотрел на бабушку.

— Да, они вот чем играют. Покажите им,— сказала она, обращаясь к Мимі.

Папа взял в руки дробь и не мог не улыбнуться.

— Да это дробь, татап,— сказал он,— это совсем не опасно.

— Очень вам благодарна, мой милый, что вы меня учите, только уж я стара слишком...

— Нервы, нервы! — прошептал доктор.

И папа тотчас обратился к нам:

— Где вы это взяли? и как смёете шалить такими вещами?

— Нечего их спрашивать, а надо спросить их *дядьку*, — сказала бабушка, особенно презрительно выговаривая слово «дядька», — что он смóтит?

— Вольдемáр сказа́л, что сам Карл Ива́ныч дал ему́ этот *пóрох*, — подхвати́ла Мими́.

— Ну вот ви́дите, како́й он хоро́ший, — продолжа́ла бабушка, — и где он, этот *дядька*, как бишь его? пошлите его́ сюда́.

— Я его́ отпусти́л в го́сти, — сказа́л папа́.

— Это не резон; он всегда́ должен быть здесь. Де́ти не мой, а ва́ши, и я не имею́ права́ советовать вам, потому́ что вы умнее́ меня́, — продолжа́ла бабушка, — но ка́жется, поря́ бы для них наня́ть гуверне́ра, а не *дядьку*, немецкого мужика́. Да, глупого мужика́, кото́рый их ничему́ научи́ть не мо́жет, крóме дурны́м манера́м и тирольским пёсня́м. Очень́ ну́жно, я вас спрашиваю, де́тям уме́ть петь тирольские пёсни. Впрóчем, *тепе́рь* некому́ об это́м подумать, и вы мо́жете де́лать как хоте́те.

Сло́во «тепе́рь» значило: когда́ у них нет ма́тери, и вы́звало гру́стные воспомина́ния в се́рдце бабушки, — она́ опусти́ла глаза́ на табакёрку с портре́том и задумалась.

— Я давно́ уже́ ду́мал об это́м, — поспеши́л сказа́ть папа́, — и хоте́л посоветова́ться с ва́ми, тата́п: не пригласи́ть ли нам St.-Jérôme'a ¹, кото́рый те́перь по биле́там дае́т им уро́ки?

— И прекра́сно сде́лаешь, мой друг, — сказа́ла бабушка уже́ не тем недово́льным го́лосом, кото́рым говори́ла пре́жде. — St.-Jérôme по кра́йней ме́ре *gouverneur* ², кото́рый пойме́т, как ну́жно вести́ *des enfants de bonne maison* ³, а не простóй *tepin*, *дядька*, кото́рый го́ден то́лько на то, что́бы води́ть их гуля́ть.

— Я за́втра же погово́рю с ним, — сказа́л папа́.

И действите́льно, че́рез два дня по́сле это́го разгово́ра Карл Ива́ныч уступи́л своё ме́сто молодóму ще́голю францу́зу.

¹ Сен-Жером.

² Гувернё́р (*франц.*).

³ Дете́й из хоро́шей семье́й (*франц.*).

ИСТОРИЯ КАРЛА ИВАНЬЧА



Поздно вечером накануне того дня, в который Карл Иваныч должен был навсегда уехать от нас, он стоял в своём ваточном халате и красной шапочке подле кровати и, нагнувшись над чемоданом, тщательно укладывал в него свои вещи.

Обращение с нами Карла Иваныча в последнее время было как-то особенно сухо: он как будто избегал всяких с нами сношений. Вот и теперь, когда я вошёл в комнату, он взглянул на меня исподлбья и снова принялся за дело. Я прилёг на свою постель, но Карл Иваныч, прежде строго запрещающий делать это, ничего не сказал мне, и мысль, что он больше не будет ни бранить, ни останавливать нас, что ему нет теперь до нас никакого дела, живо припомнила мне предстоящую разлуку. Мне стало грустно, что он разлюбил нас, и хотелось выразить ему это чувство.

— Позвольте, я помогу вам, Карл Иваныч,— сказал я, подходя к нему.

Карл Иваныч взглянул на меня и снова отвернулся, но в беглом взгляде, который он бросил на меня, я прочёл не равнодушие, которым объяснял его холодность, но искреннюю, сосредоточенную печаль.

— Бог всё видит и всё знает, и на всё его святая воля,— сказал он, выпрямляясь во весь рост и тяжело вздыхая.— Да, Николька,— продолжал он, заметив выражение непритворного участия, с которым я смотрел на него,— моя судьба быть несчастливым с самого моего детства и по гробовую доску. Мне всегда платили злом за доброе, которое я делал людям, и моя награда не здесь, а оттуда,— сказал он, указывая на небо.— Когда б вы знали мою историю и всё, что я перенёс в этой жизни!.. Я был сапожник, я был солдат, я был *дезертир*, я был фабрикант, я был учитель, и теперь я нуль! и мне, как сыну божию, некуда преклонить свою голову,— заключил он и, закрыв глаза, опустился в своё кресло.

Замѣтив, что Карл Ива́ныч находился в том чувствительном расположеніи дѣха, в котором он, не обращая вниманія на слушателей, высказывал для самого себя свои задушевные мысли, я, молча и не спуская глаз с его добраго лица, сел на кровать.

— Вы не дитя, вы можете понимать. Я вам скажу свою исторію и всё, что я перенёс в этой жизни. Когда-нибудь вы вспомните старога друга, который вас очень любил, дѣти!..

Карл Ива́ныч облокотился рукою о столик, стоявшій подле него, понюхал табакъ и, закатив глаза к небу, тем особенным, мѣрным горловымъ голосом, которым он обыкновенно диктовал нам, начал так своё повествованіе:

— *Я был несчастлив ишо во чрева моёй матрри. Das Unglück verfolgte mich schon im Schosse meiner Mutter!*— повторил он ещё с большим чувством.

Так как Карл Ива́ныч не одинъ раз, в одинаковомъ порядкѣ, однихъ и техъ же выраженіяхъ и с постоянно неизменяемыми интонаціями, рассказывал мне впоследствии свою исторію, я надѣюсь передать её почти слово в слово: разумѣется, исключая неправильности языка, о которой читатель можетъ судить по первой фразѣ. Была ли это действительно его исторія или произведеніе фантазіи, родившееся во время его одинокой жизни в нашемъ домѣ, которому он и сам началъ вѣрить от частога повторенія, или он только украсил фантастическими фактами действительные событія своей жизни — не решилъ ещё я до сихъ пор. С одной стороны, он с слишкомъ живымъ чувством и методическою послѣдовательностью, составляющими главные признаки правдоподобности, рассказывал свою исторію, чтобы можно было не вѣрить ей; с другой стороны, слишкомъ много было поэтическихъ красотъ в его исторіи; так что именно красоты эти вызывали сомнѣнія.

«В жилахъ моихъ течётъ благородная кровь графовъ фон Зомерблат! In meinen Adern fließt das edle Blut des Grafen von Sommerblat! Я родился шесть недѣль после свадьбы. Мужъ моёй матери (я звалъ его папенька) былъ арендаторъ у графа Зомерблат. Он не могъ позабыть стыда моёй матери и не любилъ меня. У меня былъ маленькій братъ Johann и две сестры; но я былъ чужой в своёмъ собственномъ семействѣ! Ich war ein Fremder in meiner



Маша шьёт, изредка останавливаясь...



Дубков и Нехлюдов, в шинелях и шляпах, вошли в комнату.

eigenen Familie! Когда Johann делал глупости, папенька говорил: «С этим ребёнком Карлом мне не будет минуты покоя!», меня бранили и наказывали. Когда сестры сердились между собой, папенька говорил: «Карл никогда не будет послушный мальчик!», меня бранили и наказывали. Одна моя добрая маменька любила и ласкала меня. Часто она говорила мне: «Карл! подите сюда в мою комнату», и она потихоньку целовала меня. «Бедный, бедный Карл! — сказала она, — никто тебя не любит, но я ни на кого тебя не променяю. Об одном тебя просит твоя маменька, — говорила она мне, — учишь хорошо и будь всегда честным человеком, бог не оставит тебя! Trachte nur ein ehrlicher Deutscher zu werden, — sagte sie, — und der liebe Gott wird dich nicht verlassen!» И я старался. Когда мне минуло четырнадцать лет и я мог идти к причастию, моя маменька сказала моему папеньке: «Карл стал большой мальчик, Густав; что мы будем с ним делать?» И папенька сказал: «Я не знаю». Тогда маменька сказала: «Отдадим его в город к г. Шульц, пускай он будет сапожник!», и папенька сказал «хорошо», und mein Vater sagte «gut». Шесть лет и семь месяцев я жил в городе у сапожного мастера, и хозяин любил меня. Он сказал: «Карл хороший работник, и скоро он будет моим Geselle»¹, но... человек предполагает, а бог располагает... в 1796 году была назначена Conscription², и все, кто мог служить, от восемнадцати до двадцать первого года, должны были собраться в город.

Папенька и брат Johann приехали в город, и мы вместе пошли бросить Loos³, кому быть Soldat⁴ и кому не быть Soldat. Johann вытасил дурной номер — он должен быть Soldat, я вытасил хороший номер — я не должен быть Soldat. И папенька сказал: «У меня был один сын, и с тем я должен расстаться! Ich hatte einen einzigen Sohn, und von diesem muss ich mich trennen!»

Я взял его за руку и сказал: «Зачем вы сказали так, папенька? Пойдёмте со мной, я вам скажу что-нибудь». И папенька пошёл. Папенька пошёл, и мы сели в трактир

¹ Подмастерье (нем.).

² Рекрутский набор (нем.).

³ Жребий (нем.).

⁴ Солдат (нем.).

за маленький столик. «Дайте нам пару Bierkrug»¹,— я сказал, и нам принесли. Мы выпили по стаканчик, и брат Johann тоже выпил.

— Папенька!— я сказал,— не говорите так, что «у вас был один сын, и вы с тем должны расстаться», у меня сердце хочет *выпрыгнуть*, когда я этого слышу. Брат Johann не будет служить — я буду Soldat!.. Карл здесь никому не нужен, и Карл будет Soldat.

— Вы честный человек, Карл Иванович! — сказал мне папенька и поцеловал меня.— Du bist ein braver Bursche! — sagte mir mein Vater und küsste mich.

И я был Soldat!»

Глава IX

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ



«Тогда было страшное время, Никольенька,— продолжал Карл Иванович,— тогда был Наполеон. Он хотел завоевать Германию, и мы защищали своё отечество до последней капли крови! und wir verteidigten unser Vaterland bis auf den letzten Tropfen Blut!

Я был под Ульм, я был под Аустерлиц! я был под Ваграм! ich war bei Wagram!»

— Неужели вы тоже воевали? — спросил я, с удивлением глядя на него.— Неужели вы тоже убивали людей?

Карл Иванович тотчас же успокоил меня на этот счёт.

«Один раз французский Grenadier² отстал от своих и упал на дороге. Я прибежал с ружьём и хотел проколоть его, aber der Franzose warf sein Gewehr und rief pardon³ и я пустил его!

Под Ваграм Наполеон загнал нас на остров и окружил так, что никуда не было спасенья. Трое суток у нас

¹ Кружек пива (нем.).

² Гренадёр.

³ Но француз бросил своё ружьё и запросил пощады (нем.).

не было провианта, и мы стояли в воде по колёнки. Злодей Наполеон не брал и не пускал нас! und der Bösewicht Napoleon wollte uns nicht gefangen nehmen und auch nicht freilassen.

На четвёртые сутки нас, слава богу, взяли в плен и отвели в крепость. На мне был синий панталон, мундир из хорошего сукна, пятнадцать талеров денег и серебряные часы — подарок моего папеньки. Французский Soldat всё взял у меня. На моё счастье, у меня было три червонца, которые маменька зашила мне под фуфайку. Их никто не нашёл!

В крепости я не хотел долго оставаться и решился бежать. Один раз, в большой праздник, я сказал сержанту, который смотрел за нами: «Господин сержант, нынче большой праздник, я хочу вспомнить его. Принесите, пожалуйста, две бутылочки мадёр, и мы вместе выпьем её». И сержант сказал: «Хорошо». Когда сержант принёс мадёр и мы выпили по рюмочке, я взял его за руку и сказал: «Господин сержант, может быть, у вас есть отец и мать?..» Он сказал: «Есть, господин Мауер...» — «Мой отец и мать, — я сказал, — восемь лет не видали меня и не знают, жив ли я, или кости мои давно лежат в сырой земле. О господин сержант! у меня есть два червонца, которые были под моей фуфайкой, возьмите их и пустите меня. Будьте моим благодетелем, и мой маменька всю жизнь будет молить за вас всемогущего бога».

Сержант выпил рюмочку мадёры и сказал: «Господин Мауер, я очень люблю и жалею вас, но вы пленный, а я Soldat!» Я пожал его за руку и сказал: «Господин сержант!» Ich drückte ihm die Hand und sagte: «Herr Sergeant!»

И сержант сказал: «Вы бедный человек, и я не возьму ваши деньги, но помогу вам. Когда я пойду спать, купите ведро водки солдатам, и они будут спать. Я не буду смотреть на вас».

Он был добрый человек. Я купил ведро водки, и когда Soldat был пьяны, я надел сапоги, старый шинель и потихоньку вышел за дверь. Я пошёл на вал и хотел прыгнуть, но там была вода, и я не хотел спортить последнее платье: я пошёл в ворота.

Часовой ходил с ружьём auf und ab¹ и смотрел на

¹ Взад и вперёд (нем.).

меня. «Qui vive?» — sagte er auf einmal¹, и я молчал. «Qui vive?» — sagte er zum zweiten Mal², и я молчал. «Qui vive?» — sagte er zum dritten Mal³, и я бѣгал. Я прыгнул в вода, влезал на другой сторонѣ и пустился. Ich sprang in's Wasser, kletterte auf die andere Seite und machte mich aus dem Staube.

Цѣлую ночь я бѣжал по дорогѣ, но когда рассвело, я боялся, чтобы меня не узнали, и спрятался в высокую рожь. Там я стал на колѣнки, сложил руки, поблагодарил отца небесного за своё спасѣние и с покойным чувством заснул. Ich dankte dem allmächtigen Gott für Seine Barmherzigkeit und mit beruhigtem Gefühl schlief ich ein.

Я проснулся вечером и пошел дальше. Вдруг больша́я немецкая фу́ра в две воронье лошади догна́ла меня. В фу́ре сидѣл хорошо одѣтый человек, курил трубочку и смотрѣл на меня. Я пошел потихоньку, чтобы фу́ра обогнала́ меня, но я шѣл потихоньку, и фу́ра ѣхала потихоньку, и человек смотрѣл на меня; я шѣл поскорѣе, и фу́ра ѣхала поскорѣе, и человек смотрѣл на меня. Я сел на дорогѣ; человек остановил своих лошадей и смотрѣл на меня. «Молодой человек, — он сказа́л, — куда вы идѣте так поздно?» Я сказа́л: «Я иду́ в Франкфурт». — «Садитесь в мою фу́ру, мѣсто есть, и я доведу вас... Отчего у вас ничегó нет с собой, борода́ ва́ша не брита и платье ва́ше в грязи?» — сказа́л он мне, когда я сел с ним. «Я бедный человек, — я сказа́л, — хочу наняться где-нибудь на фабрик; а платье моё в грязи оттого, что я упал на дорогѣ». — «Вы говорите неправду, молодой человек, — сказа́л он, — по дорогѣ теперъ сухо».

И я молчал.

— Скажите мне всю правду, — сказа́л мне добрый человек, — кто вы и откуда идѣте? лицо ва́ше мне понравилось, и ежели вы честный человек, я помогу вам.

И я всё сказа́л ему. Он сказа́л: «Хорошо, молодой человек, поѣдьте на мою канатную фабрику. Я дам вам работу, платье, деньги, и вы будете жить у меня».

И я сказа́л: «Хорошо».

Мы приѣхали на канатную фабрику, и добрый человек сказа́л своей женѣ: «Вот молодой человек, который спра-

¹ «Кто идѣт?» (франц.) — спросил он вдруг (нем.).

² «Кто идѣт?» (франц.) — спросил он во второй раз (нем.).

³ «Кто идѣт?» (франц.) — спросил он в третий раз (нем.).

жа́лся за своё отечество и бежа́л из плéна; у него́ нет ни до́ма, ни пла́тья, ни хлéба. Он бу́дет жить у меня́. Да́йте ему́ чистое бельё и покормите его́».

Я полтора́ го́да жил на канáтной фаб́рике, и мой хозя́ин так полюбил меня́, что не хоте́л пустить. И мне бы́ло хорошо́. Я был тогда́ краси́вый мужчи́на, я был молодóй, высо́кий рост, голу́бые глаза́, римский нос... и Madame L... (я не могу́ сказа́ть её и́мени), жена́ моего́ хозя́ина, была́ молоденькая, хороше́нькая да́ма. И она́ полюби́ла меня́.

Когда́ она́ *ви́дела* меня́, она́ сказа́ла: «Господи́н Ма́у-ер, как вас зовет ва́ша ма́менька?» Я сказа́л: «Karlchen»¹. И она сказа́ла: «Karlchen! сядьте по́дле меня́».

Я сел по́дле ней, и она́ сказа́ла: «Karlchen! поцелуйте меня́».

Я его́ поцелова́л, и он сказа́л: «Karlchen! я так люблю́ вас, что не могу́ бо́льше терпе́ть»,— и он весь задрожа́л.

Тут Карл Ива́ныч сде́лал продо́лжительную па́узу и, заката́в свои́ до́брые голу́бые глаза́, слегка́ покáчивая голо́вой, приня́лся улыба́ться так, как улыба́ются лю́ди под влия́нием приятных воспомина́ний.

«Да,— нача́л он о́пять, поправля́ясь в кресе́ле и запа́хивая свой хала́т,— мно́го я испы́тал и хоро́шего и дурно́го в своей жи́зни; но вот мой свиде́тель,— сказа́л он, ука́зывая на шитый по канве́ образо́к спаси́теля, висевший над его́ кровати́ю,— никто́ не мо́жет сказа́ть, что́б Карл Ива́ныч был нече́стный челове́к! Я не хоте́л че́рной неблагода́рностью плати́ть за добро́, кото́рое мне сде́лал господи́н L..., и реши́лся бежа́ть от него́. Вечерко́м, когда́ все шли спать, я написа́л письмо́ своему́ хозя́ину и положи́л его́ на столе́ в своей ко́мнате, взял своё пла́тье, три та́лер де́нег и потихо́ньку вы́шел на у́лицу. Никто́ не ви́дал меня́, и я поше́л по доро́ге».

¹ Карлу́ша (нем.).

ПРОДОЛЖЕНИЕ



«Я девять лет не видал своей маменьки и не знал, жива ли она, или кости её лежат уже в сырой земле. Я пошёл в своё отечество. Когда я пришёл в город, я спрашивал, где живёт Густав Мауер, который был арендатором у графа Зомерблат? И мне сказали: «Граф Зомерблат умер, и Густав Мауер живёт теперь в большой улице и держит лавку ликёр». Я надёл

свой новый жилёт, хороший сюртук — подарок фабриканта, хорошенько причёсал волосы и пошёл в ликёрную лавку моего папеньки. Сестра Mariechen сидела в лавочке и спросила, что мне нужно? Я сказал: «Можно выпить рюмочку ликёр?» — и она сказала: «Vater! ¹ Молодой человек просит рюмочку ликёр». И папёнышка сказал: «Поддай молодому человеку рюмочку ликёр». Я сел подле столика, пил свою рюмочку ликёр, курил трубочку и смотрел на папёнышку, Mariechen и Johann, который тоже вошёл в лавку. Между разговором папёнышка сказал мне: «Вы, верно, знаете, молодой человек, где стоит теперь наша *арме*». Я сказал: «Я сам иду из *арме*, и она стоит подле *Wien*» ². — «Наш сын, — сказал папёнышка, — был Soldat, и вот девять лет он не писал нам, и мы не знаем, жив он или умер. Моя жена всегда плачет об нём...» Я курил свою трубочку и сказал: «Как звали вашего сына и где он служил? может быть, я знаю его...» — «Его звали Карл Мауер, и он служил в австрийских егерях», — сказал мой папёнышка. «Он высокий ростом и красивый мужчина, как вы», — сказала сестра Mariechen. Я сказал: «Я знаю вашего Karl». — «Amalia! — sagte auf einmal mein Vater ³, — подите сюда, здесь есть молодой человек, он знает нашего Karl». *И моё милы маменька выходит из задня двёрью. Я сейчас узнал его. «Вы знаете наша Karl», — он сказал, посмотрил на мене и, весь блёдный, за...дро...жал!.. «Да, я видел его», — я сказал и не смел*

¹ Отец (нем.).

² Вена.

³ — Амалья! — сказал вдруг мой отец (нем.).

поднять глаза на неё; сердце у меня *пригнуть* хотело. «Карл мой жив! — сказала маменька. — Слава богу! Где он, мой милый Карл? Я бы умерла спокойно, ежели бы ещё раз посмотрела на него, на моего любимого сына; но бог не хочет этого», — и он заплакал... Я не мог терпеть... «Маменька! — я сказал, — я ваш Карл!» И он упал мне на руку...»

Карл Иванович закрыл глаза, и губы его задрожали.

«Mutter, — sagte ich, — ich bin ihr Sohn, ich bin ihr Carl! und sie stürzte mir in die Arme», — повторил он, успокоившись немного и утирая крупные слёзы, катившиеся по его щекам.

«Но богу не угодно было, чтобы я кончил дни на своей родине. Мне суждено было несчастье! das Unglück verfolgte mich überall!..¹ Я жил на своей родине только три месяца. В одно воскресенье я был в кофейном доме, купил кружку пива, курил свою трубочку и разговаривал с своими знакомыми про Politik, про император Франц, про Napoleon, про войну, и каждый говорил своё мнение. Подле нас сидел незнакомый господин в сером Ueberrock², пил кофе, курил трубочку и ничего не говорил с нами. Er rauchte sein Pfeifchen und schwieg still. Когда Nachtwächter³ прокричал десять часов, я взял свою шляпу, заплатил деньги и пошёл домой. В половине ночи кто-то застучал в двери. Я проснулся и сказал: «Кто там?» — «Macht auf»⁴. Я сказал: «Скажите, кто там, и я отворю». Ich sagte: «Sagt, wer ihr seid, und ich werde aufmachen». — «Macht auf im Namen des Gesetzes!»⁵ — сказал за дверью. И я отворил. Два Soldat с ружьями стояли за дверью, и в комнату вошёл незнакомый человек в сером Ueberrock, который сидел подле нас в кофейном доме. Он был шпион! Es war ein Spion!.. «Пойдёмте со мной!» — сказал шпион. «Хорошо», — я сказал... Я надел сапоги und Pantalon⁶, надевал подтяжки и ходил по комнате. В сердце у меня кипело; я сказал: «Он подлец!» Когда я подошёл к стенке, где висела моя шпáга, я вдруг схватил её и сказал: «Ты шпион; зашишайся! Du bist ein

¹ Несчастье повсюду меня преследовало! (нем.)

² Сюртукé (нем.)

³ Ночной сторож (нем.)

⁴ Отворите! (нем.)

⁵ Отворите именем закона! (нем.)

⁶ И панталоны (нем.)

Spion; verteidige dich!» Ich gab ein Hieb¹ направо, ein Hieb налево и один на галава. Шпион упал! Я схватил чемодан и деньги и прыгнул за окошко. Ich nahm meinen Mantelsack und Beutel und sprang zum Fenster hinaus. Ich kam nach Ems²; там я познакомился с генерал Сазин. Он полюбил меня, достал у посланника паспорт и взял меня с собой в Россию учить детей. Когда генерал Сазин умер, ваша маменька позвала меня к себе. Она сказала: «Карл Иванович! отдаю вам своих детей, любите их, и я никогда не оставлю вас, я успокою вашу старость». Теперь её не стало, и всё забыто. За свою двадцатилетнюю службу я должен теперь, на старости лет, идти на улицу искать свой чёрствый кусок хлеба... Бог сей видит и сей знает, и на сей его святое воля, только вас жалко мне, дети!» — заключил Карл Иванович, притягивая меня к себе за руку и целуя в голову.

Глава XI

ЕДИНИЦА



По окончании годичного траура бабушка оправилась несколько от печали, поразившей её, и стала изредка принимать гостей, в особенности детей — наших сверстников и сверстниц.

В день рождения Любочки, 13 декабря, ещё перед обедом приехали к нам княгиня Корнакова с дочерью, Валехина с Сонечкой, Иленька Грап и два меньших брата Ивиных.

Уже звуки говора, смеху и беготни долетали к нам снизу, где собралось всё это общество, но мы не могли присоединиться к нему прежде окончания утренних классов. На таблице, висевшей в классной, значилось: Lundi, de 2 à 3, Maître d'Histoire et de Géographie³; и вот этого-то Maître d'Histoire мы должны были дождаться, выслушать и проводить.

¹ Я нанёс один удар (нем.).

² Я пришёл в Эмс (нем.).

³ Понедельник от 2 до 3 — учитель истории и географии (нем.).

прежде чем быть свободными. Было уже двадцать минут третьего, а учителя истории не было ещё ни слышно, ни видно даже на улице, по которой он должен был прийти и на которую я смотрел с сильным желанием никогда не видеть его.

— Кажется, Лебедев нынче не придёт,— сказал Володя, отрываясь на минутку от книги Смарагдова, по которой он готовил урок.

— Дай бог, дай бог... а то я ровно ничего не знаю... однако, кажется, вон он идёт,— прибавил я печальным глоссом.

Володя встал и подошёл к окну.

— Нет, это не он, это какой-то барин,— сказал он.— Подождём ещё до половины третьего,— прибавил он, потягиваясь и в то же время почёсывая маковку, как он это обыкновенно делал, на минуту отдыхая от занятий.— Ежели не придёт и в половине третьего, тогда можно будет сказать St.-Jérôme'у, чтобы убраться в тетради.

— И охота ему хо-о-о-о-дить,— сказал я, тоже потягиваясь и потрясая над головой книгу Кайданова, которую держал в обеих руках.

От нечего делать я раскрыл книгу на том месте, где был задан урок, и стал прочитывать его. Урок был большой и трудный, я ничего не знал и видел, что уже никак не успею хоть что-нибудь запомнить из него, тем более, что находился в том раздражённом состоянии, в котором мысли отказываются остановиться на каком бы то ни было предмете.

За прошедший урок истории, которая всегда казалась мне самым скучным, тяжёлым предметом, Лебедев жаловался на меня St.-Jérôme'у и в тетради баллов поставил мне два, что считалось очень дурным. St.-Jérôme тогда ещё сказал мне, что ежели в следующий урок я получу меньше трёх, то буду строго наказан. Теперь-то предстоял этот следующий урок, и, признаюсь, я сильно трусил.

Я так увлёкся перечитыванием незнакомого мне урока, что слышавшийся в передней стук снятия калош внезапно поразил меня. Едва успел я оглянуться, как в дверях показалась ряббе, отвратительное для меня лицо и слишком знакомая неуклюжая фигура учителя в синем застёгнутом фраке с учёными пуговицами.

Учитель медленно положил шапку на окно, тетради на стол, раздвинул обеими руками фалды своего фрака (как

бўдто ёто было очень нўжно) и, отдуваясь, сел на своё мёсто.

— Ну-с, господá,— сказа́л он, потира́я одну́ о друго́ю свои́ потные ру́ки,— пройде́мте-с сперва́ то, что было́ сказа́но в прошедший класс, а потóм я постара́юсь познако́мить вас с дальнейшими собы́тиями сре́дних веко́в.

Это значило: ска́зываюте уро́ки.

В то вре́мя как Воло́дя отве́чал ему́ с свободо́й и уве́ренностью, свойственно́ю тем, кто хорошо́ знаёт предмет, я без всякой це́ли вы́шел на ле́стницу, и так как вниз нельзя́ мне было́ итти́, весьма́ естество́нно, что я незамётно для само́го себя́ очути́лся на площа́дке. Но то́лько что я хоте́л поместиться на обыкнове́нном постё своих наблюде́ний — за двёрью, как вдруг Мими́, всегда́ бывшая причино́ю моих несча́стий, наткину́лась на меня́. «Вы здесь?» — сказа́ла она́, гро́зно посмотре́в на меня́, потóм на дверь де́вчье́й и потóм о́пять на меня́.

Я чу́ствовал себя́ круго́м виноваты́м — и за то, что был не в классе, и за то, что находи́лся в тако́м неукра́занном мёсте, поэ́тому молча́л и, опу́стив го́лову, явля́л в своей о́собе са́мое трóгательное выра́жение раская́ния.

— Нет, ёто уж ни на что не похо́же! — сказа́ла Мими́.— Что вы здесь де́лали? — Я помолча́л.— Нет, ёто так не оста́нется,— повторила́ она́, посту́кивая щико́лками па́льцев о перила́ ле́стницы,— я всё расскажу́ гра́фине.

Бы́ло уже́ без пяти́ мину́т три, когда́ я верну́лся в класс. Учи́тель, как бўдто не замеча́я ни моего́ отсутстви́я, ни моего́ прису́тствия, объясня́л Воло́де сле́дующий уро́к. Когда́ он, окóнчив свои́ толковáния, нача́л скла́дывать тетра́ди и Воло́дя вы́шел в друго́ю ко́мнату, что́бы принести́ биле́тик, мне пришла́ отра́дная мысль, что всё ко́нчено и про меня́ забўдут.

Но вдруг учи́тель с злоде́йской полуулы́бкой обрати́лся ко мне.

— Наде́юсь, вы вы́учили свои́ уро́к-с,— сказа́л он, потира́я ру́ки.

— Вы́учил-с,— отве́чал я.

— Потруди́тесь мне сказа́ть что́-нибудь о кресто́вом походе́ Людо́вика Свято́го,— сказа́л он, пока́чиваясь на сту́ле и задумчи́во глядя́ себе́ по́д ноги.— Сначала́ вы мне ска́жете о причи́нах, побуди́вших коро́ля францу́зского взять крест,— сказа́л он, поднимáя брóви и указы́вая па́льцем на чернильницу,— потóм объясните́ мне общие

характеристические черты этого похода, — прибавил он, делая всей кистью движение такое, как будто хотел поймать что-нибудь, — и, наконец, влияние этого похода на европейские государства вообще, — сказал он, ударяя тетрадами по левой стороне стола, — и на французское королевство в особенности, — заключил он, ударяя по правой стороне стола и склоняя голову направо.

Я проглотил несколько раз слюны, прокашлялся, склонил голову набок и молчал. Потом, взяв перо, лежавшее на столе, начал обрывать его и всё молчал.

— Позвольте пёрышко, — сказал мне учитель, протягивая руку. — Оно пригодится. Ну-с.

— Людо... кар... Людовик Святой был... был... был... добрый и умный царь...

— Кто-с?

— Царь. Он вздумал пойти в Иерусалим и *пéредал бразды правлénия* своей матери.

— Как её звали-с?

— Б...б...ланка.

— Как-с? Буланка?

Я усмехнулся как-то криво и неловко.

— Ну-с, не знаете ли ещё чего-нибудь? — сказал он с усмешкой.

Мне нечего было терять, я прокашлялся и начал врать всё, что только мне приходило в голову. Учитель молчал, сметая со стола пыль пёрышком, которое он у меня отнял, пристально смотрел мимо моего уха и приговаривал: «Хорошо-с, очень хорошо-с». Я чувствовал, что ничего не знаю, выражаюсь совсем не так, как следует, и мне страшно больно было видеть, что учитель не останавливает и не поправляет меня.

— Зачем же он вздумал идти в Иерусалим? — сказал он, повторяя мой слова.

— Затем... потому... оттого, затем что...

Я решительно замаялся, не сказал ни слова больше и чувствовал, что, ежели этот злодей-учитель хоть год целый будет молчать и вопросительно смотреть на меня, я всё-таки не в состоянии буду произнести более ни одного звука. Учитель минуты три смотрел на меня, потом вдруг проявил в своём лице выражение глубокой печали и чувствительным голосом сказал Володе, который в это время вошёл в комнату:

— Позвольте мне тетрадку: проставить баллы.

Володя подал ему тетрадь и осторожно положил билетик подле неё.

Учитель развернул тетрадь и, бережно обмахнув перо, красивым почерком написал Володе пять в графе успехов и поведения. Потом, остановив перо над графою, в которой означались мои баллы, он посмотрел на меня, стряхнул чернила и задумался.

Вдруг рука его сделала чуть заметное движение, и в графе появилась красиво начерченная единица и точка; другое движение — и в графе поведения другая единица и точка.

Бережно сложив тетрадь баллов, учитель встал и пошёл к двери, как будто не замечая моего взгляда, в котором выражались отчаяние, мольба и упрек.

— Михайл Ларионыч! — сказал я.

— Нет, — отвечал он, понимая уже, что я хотел сказать ему, — так нельзя учиться. Я не хочу даром денег брать.

Учитель надел калоши, камлотовую шинель, с большим тщанием повязался шарфом. Как будто можно было о чём-нибудь заботиться после того, что случилось со мной? Для него движения пера, а для меня величайшее несчастье.

— Класс кончен? — спросил St.-Jérôme, входя в комнату.

— Да.

— Учитель доволен вами?

— Да, — сказал Володя.

— Сколько вы получили?

— Пять.

— A Nicolas? ¹

Я молчал.

— Кажется, четыре, — сказал Володя.

Он понимал, что меня нужно было спасти хотя на нынешний день. Пускай накажут, только бы не нынче, когда у нас гости.

— Voyons, messieurs! ² (St.-Jérôme имел привычку ко всякому слову говорить: voyons) faites votre toilette et descendons ³.

¹ А Никола́й? (франц.)

² Ну же, господа! (франц.)

³ Займитесь вашим туалетом, и идёмте вниз. (франц.)



Едва успели мы, сойдя вниз, поздороваться со всеми гостями, как нас позвали к столу. Папа был очень весел (он был в выигрыше в это время), подарил Любочке дорогой серебряный сервиз и за обедом вспомнил, что у него во флигеле осталась ещё бонбоньерка, приготовленная для именинницы.

— Чем человека посылать, поди-ка лучше ты, Кокб,— сказал он мне.— Ключи лежат на большом столе в раковине, знаешь?.. Так возьми их и самым большим ключом отпери второй ящик направо. Там найдешь коробочку, конфеты в бумаге и принеси всё сюда.

— А сигары принести тебе? — спросил я, зная, что он всегда после обеда посылал за ними.

— Принеси, да смотри у меня — ничего не трогать! — сказал он мне вслед.

Найдя ключи на указанном месте, я хотел уже отпереть ящик, как меня остановило желание узнать, какую вещь отпирал крошечный ключик, висевший на той же связке.

На столе, между тысячью разнообразных вещей, стоял около перилец шитый портфель с висячим замочком, и мне захотелось попробовать, придется ли к нему маленький ключик. Испытание увенчалось полным успехом, портфель открылся, и я нашел в нем целую кучу бумаг. Чувство любопытства с таким убеждением советовало мне узнать, какие были эти бумаги, что я не успел прислушаться к голосу совести и принялся рассматривать то, что находилось в портфеле...

Детское чувство безусловного уважения ко всем старшим, и в особенности к папе, было так сильно во мне, что ум мой бессознательно отказывался выводить какие бы то ни было заключения из того, что я видел. Я чувствовал, что папа должен жить в сфере совершенно особен-

ной, прекрасной, недоступной и непостижимой для меня, и что стараться проникать тайны его жизни было бы с моей стороны чем-то вроде святотатства.

Поэтому открытия, почти нечаянно сделанные мною в портфеле папа, не оставили во мне никакого ясного понятия, исключая тёмного сознания, что я поступил нехорошо. Мне было стыдно и неловко.

Под влиянием этого чувства я как можно скорее хотел закрыть портфель, но мне, видно, суждено было испытать всевозможные несчастья в этот достопамятный день: вложив ключик в замочную скважину, я повернул его не в ту сторону; воображая, что замок заперт, я вынул ключ, и — о ужас! — у меня в руках была только головка ключика. Тщетно я старался соединить её с оставшейся в замке половиной и посредством какого-то волшебства высвободить её оттуда; надо было, наконец, привыкнуть к ужасной мысли, что я совершил новое преступление, которое нынче же по возвращении папа в кабинет должно будет открыться.

Жалоба Мими, единица и ключик! Хуже ничего не могло со мной случиться. Бабушка — за жалобу Мими, St.-Jérôme — за единицу, папа — за ключик... и всё это обрушится на меня не позже как нынче вечером.

— Что со мной будет?! А-а-ах! что я наделал?! — говорил я вслух, прохаживаясь по мягкому ковру кабинета. — Э! — сказал я сам себе, доставая конфеты и сигары, — *чему быть, тому не миновать...* — и побежал в дом.

Это фаталистическое изречение, в детстве подслушанное мною у Николая, во все трудные минуты моей жизни производило на меня благотворное, временно успокаивающее влияние. Входя в залу, я находился в несколько раздражённом и неестественном, но чрезвычайно веселом состоянии духа.

ИЗМЕННИЦА



После обеда начались *petits jeux*¹, и я принимал в них живейшее участие. Играя в «кошку-мышку», как-то неловко разбежавшись на гувернантку Корнаковых, которая играла с нами, я нечаянно наступил ей на платье и оборвал его. Заметив, что всем девочкам, и в особенности Сонечке, доставляло большое удовольствие видеть, как гувернантка с расстроенным лицом пошла в девичью зашивать своё платье, я решил-

ся доставить им это удовольствие ещё раз. Вследствие такого любезного намерения, как только гувернантка вернулась в комнату, я принялся галопировать вокруг неё и продолжал эти эволюции до тех пор, пока не нашёл удобной минуты снова зацепить каблуком за её юбку и оборвать. Сонечка и княжны едва могли удержаться от смеха, что весьма приятно польстило моему самолюбию; но St.-Jérôme, заметив, должно быть, мой проделки, подошёл ко мне и, нахмурив брови (чего я терпеть не мог), сказал, что я, кажется, не к добру развеселился и что ежели я не буду скромнее, то, несмотря на праздник, он заставит меня раскаяться.

Но я находился в раздражённом состоянии человека, проигравшего более того, что у него есть в кармане, который бойтся счесть свою запись и продолжает ставить отчаянные карты уже без надежды отыграться, а только для того, чтобы не давать самому себе времени опомниться. Я дерзко улыбнулся и ушёл от него.

После «кошки-мышки» кто-то затеял игру, которая называлась у нас, кажется, *Lange Nase*². Сущность игры состояла в том, что ставили два ряда стульев, один против другого, и дамы и кавалеры разделялись на две партии и по переменкам выбирали одна другую.

Младшая княжна каждый раз выбирала меньшего

¹ Буквально: маленькие игры; в данном случае — комнатные игры.

² Длинный нос (нем.).

Ивина, Кáтенька выби́рала́ и́ли Воло́дю, и́ли Иленьку, а Со́нечка ка́ждый раз Се́рёжу и ниско́лько не стыди́лась, к моему́ кра́йнему уди́влению, ко́гда Се́рёжа пра́мо шёл и сади́лся прот́ив не́е. Она́ смея́лась своимъ ми́лым звонкимъ сме́хом и де́лала ему́ голо́вкой знак, что он уга́дал. Меня́ же никто́ не выби́рал. К кра́йнему оскорбле́нию моего́ самолю́бия, я понима́л, что я ли́шний, *оста́ющийся*, что про меня́ всякий раз должны́ бы́ли говори́ть: «Кто ещё оста́ется?» — «Да Ни́коленька; ну, вот ты его́ и возьми́». Поэто́му, ко́гда мне приходи́лось выходи́ть, я пра́мо подходи́л и́ли к сестре́, и́ли к одной́ из некра́сивых княжо́н и, к несча́стию, никогда́ не оши́бался. Со́нечка же, ка́залось, так бы́ла заня́та Се́рёжей Ивиным, что я не существова́л для не́е во́все. Не зна́ю, на ка́ком основа́нии называ́л я её мы́сленно *изме́нницею*, так как она́ никогда́ не дава́ла мне обеща́ния выби́рать меня́, а не Се́рёжу; но я твёрдо́ был убе́ждён, что она́ са́мым гну́сным обра́зом поступи́ла со мно́ю.

По́сле игры́ я заме́тил, что *изме́нница*, ко́торую я прези́рал, но с ко́торой, одна́ко, не мог спусти́ть глаз, вме́сте с Се́рёжей и Кáтенькой отошли́ в у́гол и о чём-то тайнственно́ разгова́ривали. Подкра́вшись из-за фортепья́н, что́бы откры́ть их секреты́, я уви́дал сле́дующее: Кáтенька держа́ла за два конца́ батистовый́ плато́чек в ви́де ширм, заслоня́я им го́ловы Се́рёжи и Со́нечки. «Нет, проигра́ли, тепе́рь распла́чивайтесь!» — говори́л Се́рёжа. Со́нечка, опу́стив ру́ки, стоя́ла пе́ред ним то́чно виновáтая и, красне́я, говори́ла: «Нет, я не проигра́ла, не пра́вда ли, mademoiselle Catherine?»¹ — «Я люблю́ пра́вду, — отвеча́ла Кáтенька, — проигра́ла па́ри, та chère»².

Едва́ успе́ла Кáтенька произнести́ э́ти слова́, как Се́рёжа нагну́лся и поцелова́л Со́нечку. Так пра́мо и поцелова́л в её ро́зовые губки. И Со́нечка засмея́лась, как бу́дто э́то ниче́го, как бу́дто э́то о́чень ве́село. Ужа́сно!!!
О, кова́рная *изме́нница!*

¹ Мадемуазель Катерина (франц.).

² Моя дорогая (франц.).

ЗАТМЕНИЕ



Я вдруг почувствовал презрение ко всему женскому полу вообще и к Соне в особенности; начал уверять себя, что ничего весёлого нет в этих играх, что они приличны только девочкам, и мне чрезвычайно захотелось буйнить и сделать какую-нибудь такую молодецкую штуку, которая бы всех удивила. Случай не замедлил представиться.

St.-Jérôme, поговорив о чём-то с Мимй, вышел из комнаты; звуки его шагов слышались сначала на лестнице, а потом над нами, по направлению классной. Мне пришла мысль, что Мимй сказала ему, где она видела меня во время класса, и что он пошёл посмотреть журнал. Я не предполагал в это время у St.-Jérôme'a другой цели в жизни, как желания наказать меня. Я читал где-то, что дети от 12 до 14 лет, то есть находящиеся в переходном возрасте отрочества, бывают особенно склонны к поджигательству и даже убийству. Вспоминая своё отрочество и особенно то состояние духа, в котором я находился в этот несчастный для меня день, я весьма ясно понимаю возможность самого ужасного преступления, без цели, без желания вредить, — но так — из любопытства, из бессознательной потребности деятельности. Бывают минуты, когда будущее представляется человеку в столь мрачном свете, что он боится останавливать на нём свой умственный взоры, прекращает в себе совершенно деятельность ума и старается убедить себя, что будущего не будет и прошедшего не было. В такие минуты, когда мысль не обсуживает вперёд каждого определения воли, а единственными друзьями жизни остаются плотские инстинкты, я понимаю, что ребёнок, по неопытности, особенно склонный к такому состоянию, без малейшего колебания и страха, с улыбкой любопытства, раскладывает и раздувает огонь под собственным домом, в котором спят его братья, отец, мать, которых он нежно любит. Под влиянием этого же временного отсутствия мысли — рассеянности почти —

крестьянский парень лет семнадцати, осматривая лезвие только что отточенного топора подле лавки, на которой лицом вниз спит его старик отец, вдруг размахивается топором и с тупым любопытством смотрит, как сочится под лавку кровь из разрубленной шеи; под влиянием этого же отсутствия мысли и инстинктивного любопытства человек находит какое-то наслаждение остановиться на самом краю обрыва и думать: а что, если туда броситься? или приставить ко лбу заряженный пистолет и думать: а что, ежели пожать гашетку? или смотреть на какое-нибудь очень важное лицо, к которому всё общество чувствует подобострастное уважение, и думать: а что, ежели подойти к нему, взять его за нос и сказать: «А ну-ка, любезный, пойдём»?

Под влиянием такого же внутреннего волнения и отсутствия размышления, когда St.-Jérôme сошёл вниз и сказал мне, что я не имею права здесь быть нынче за то, что так дурно вёл себя и учился, чтобы я сейчас же шёл наверх, я показал ему язык и сказал, что не пойду отсюда.

В первую минуту St.-Jérôme не мог слова произнести от удивления и злости.

— C'est bien ¹, — сказал он, догоняя меня, — я уже несколько раз обещал вам наказание, от которого вас хотела избавить ваша бабушка; но теперь я вижу, что, кроме розог, вас ничем не заставишь повиноваться, и нынче вы их вполне заслужили.

Он сказал это так громко, что все слышали его слова. Кровь с необыкновенной силой прилила к моему сердцу; я почувствовал, как крепко оно билось, как краска сошла с моего лица и как совершенно невольно затряслись мои губы. Я должен был быть страшен в эту минуту, потому что St.-Jérôme, избегая моего взгляда, быстро подошёл ко мне и схватил за руку; но только что я почувствовал прикосновение его руки, мне сделалось так дурно, что я, не помня себя от злости, вырвал руку и из всех моих детских сил ударил его.

— Что с тобой делается? — сказал, подходя ко мне, Володя, с ужасом и удивлением видевший мой поступок.

— Оставь меня! — закричал я на него сквозь слёзы. — Никто вы не любите меня, не понимаете, как я несчаст-

¹ Хорошо (франц.).

лив! Все вы гадки, отвратительны,— прибавил я с каким-то испуганием, обращаясь ко всему обществу.

Но в это время St.-Jérôme, с решительным и бледным лицом, снова подошёл ко мне и, не успев я приготовить к защите, как он уже сильным движением, как тиска́ми, сжал мои обе руки и потащил куда-то. Голова моя закружилась от волнения; помню только, что я отчаянно бился головой и колёнками до тех пор, пока во мне были ещё силы; помню, что нос мой несколько раз наткался на чьё-то ляжки, что в рот мне попадал чей-то скрюток, что вокруг себя со всех сторон я слышал присутствие чьих-то ног, запах пыли и violette¹, которой душился St.-Jérôme.

Через пять минут за мной затворилась дверь чулана.

— Василь! — сказал он отвратительным, торжествующим голосом, — принеси розог

Глава XV

МЕЧТЫ



Неужели в то время я мог бы думать, что останусь жив после всех несчастий, постигших меня, и что придёт время, когда я спокойно буду вспоминать о них?..

Припоминая то, что я сделал, я не мог вообразить себе, что со мной будет; но смутно предчувствовал, что пропал безвозвратно.

Сначала внизу и вокруг меня царствовала совершенная тишина, или по крайней мере мне так казалось от слишком сильного внутреннего волнения, но мало-помалу я стал разбирать различные звуки. Василий пришёл снизу и, бросив на окно какую-то вещь, похожую на метлу, зевая, улёгся на ларь. Внизу послышался громкий голос Августа Антоныча (должно быть, он говорил про меня), потом детские голоса, потом смех, беготня, а через несколько минут в доме всё пришло в прежнее движение, как будто никто не знал и не думал о том, что я сижу в тёмном чулане.

¹ Фиалки (франц.).

Я не плакал, но что-то тяжёлое, как камень, лежало у меня на сердце. Мысли и представления с усиленной быстротой проходили в моём расстроенном воображении; но воспоминание о несчастьи, постигшем меня, беспрестанно прерывало их причудливую цепь, и я снова входил в безвыходный лабиринт неизвестности о предстоящей мне участи, отчаяния и страха.

То мне приходит в голову, что должна существовать какая-нибудь неизвестная причина общей ко мне нелюбви и даже ненависти. (В то время я был твёрдо убеждён, что все, начиная от бабушки и до Филиппа-кучера, ненавидят меня и находят наслаждение в моих страданиях.) «Я должен быть не сын моей матери и моего отца, не брат Володи, а несчастный сирота, подкидыш, взятый из милости»,— говорю я сам себе, и нелепая мысль эта не только доставляет мне какое-то грустное утешение, но даже кажется совершенно правдоподобною. Мне отрадно думать, что я несчастен не потому, что виноват, но потому, что такова моя судьба с самого моего рождения и что участь моя похожа на участь несчастного Карла Ивановича.

«Но зачем дальше скрывать эту тайну, когда я сам уже успел проникнуть её?— говорю я сам себе,— завтра же пойду к папá и скажу ему: «Папá! напрáсно ты от меня скрываешь тайну моего рождения; я знаю её». Он скажет: «Что ж делать, мой друг, рано или поздно ты узнал бы это,— ты не мой сын, но я усыновил тебя, и ежели ты будешь достоин моей любви, то я никогда не оставлю тебя»; и я скажу ему: «Папá, хотя я не имею права называть тебя этим именем, но я теперь произношу его в последний раз, я всегда любил тебя и буду любить, никогда не забуду, что ты мой благодетель, но не могу больше оставаться в твоём доме. Здесь никто не любит меня, а St.-Jérôme поклялся в моей погибели. Он или я должны оставить твой дом, потому что я не отвечаю за себя, я до такой степени ненавижу этого человека, что готов на всё. Я убью его»,— так и сказать: «Папá, я убью его». Папá стáнет просить меня, но я махну рукой, скажу ему: «Нет, мой друг, мой благодетель, мы не можем жить вместе, а отпусти меня»,— и я обниму его и скажу ему, почему-то по-французски: «Oh mon père, oh mon bienfaiteur, donne moi pour la dernière fois ta

bénédiction et que la volonté de dieu soit faite!»¹ И я, сѣдя на сундукѣ в тѣмном чуланѣ, плачу навзрѣд при этой мысли. Но вдруг я вспоминаю постыдное наказаніе, ожидающее меня, действительность представляется мне в настоящем свѣтѣ, и мечты мгновенно разлетаются.

То я воображаю себя ужѣ на свободѣ, вне нашего дома. Я поступаю в гусары и иду на войну. Со всех сторон на меня несутся враги, я размахиваюсь саблей и убиваю одного, другой взмах— убиваю другого, третьего. Наконец, в изнурении от ран и усталости, я падаю на землю и кричу: «Побѣда!» Генералъ подъезжаетъ ко мне и спрашиваетъ: «Где он — наш спаситель?» Ему указывают на меня, он бросается мне на шею и с радостными слезами кричитъ: «Побѣда!» Я выздоравливаю и, с повязанной чѣрным платкомъ рукою, гуляю по Тверскому бульвару. Я генералъ! Но вот *государь* встречаетъ меня и спрашиваетъ, кто этотъ израненный молодой человекъ? Ему говорятъ, что это известный герой Николай. Государь подходитъ ко мне и говоритъ: «Благодарю тебя. Я всё сделаю, что бы ты ни просилъ у меня». Я почтительно кланяюсь и, опираясь на саблю, говорю: «Я счастлив, великій государь, что мог пролить кровь за своё отечество, и желалъ бы умереть за него; но ежели ты такъ милостив, что позволяешь мне просить тебя, прошу об одномъ — позволь мне уничтожить врага моего, иностранца St.-Jérôme'a. Мне хочется уничтожить врага моего St.-Jérôme'a». Я грозно останавливаюсь передъ St.-Jérôme'омъ и говорю ему: «Ты сделалъ моё несчастье, à genoux!»² Но вдругъ мне приходитъ мысль, что съ минуты на минуту можетъ войти настоящий St.-Jérôme с розгами, и я снова вижу себя не генераломъ, спасающимъ отечество, а самымъ жалкимъ, плачевнымъ созданиемъ.

То мне приходитъ мысль о бѣге, и я дерзко спрашиваю его, за что онъ наказываетъ меня? «Я, кажется, не забывалъ молиться утромъ и вечеромъ, такъ за что же я страдаю?» Положительно могу сказать, что первый шагъ къ религиознымъ сомнѣніямъ, тревожившимъ меня во время отрочества, былъ сделанъ мною теперь не потому, чтобы несчастье побудило меня къ ропоту и неверію, но потому, что мысль о несправедливости провидѣнія, пришедшая мне в голо-

¹ О мой отецъ, о мой благодѣтель, дай мне в послѣдний разъ своё благословеніе, и да свершится воля божія! (*франц.*)

² На колѣни! (*франц.*)

ву в эту пору совершенного душевного расстройства и сѣточного уединенія, как дурное зерно, после дождя упавшее на рыхлую землю, с быстротой стало разрастаться и пускать корни. То я воображал, что я непременно умру, и живо представлял себе удивление St.-Jérôme'a, находящего в чулане, вместо меня, безжизненное тело. Вспоминая рассказы Натальи Савишны о том, что душа усопшего до сорока дней не оставляет дома, я мысленно после смерти ношусь невидимкой по всем комнатам бабушкиного дома и подслушиваю искренние слезы Любочки, сожаления бабушки и разговор papà с Августом Антонычем. «Он славный был мальчик»,— скажет papà со слезами на глазах. «Да,— скажет St.-Jérôme,— но большій повеса».— «Вы бы должны уважать мёртвых,— скажет papà,— вы были причиною его смерти, вы запугали его, он не мог перенести унижения, которое вы готовили ему... Вон отсюда, злодей!»

И St.-Jérôme упадет на колени, будет плакать и просить прощенья. После сорока дней душа моя улетает на небо; я вижу там что-то удивительно прекрасное, белое, прозрачное, длинное и чувствую, что это моя мать. Это что-то белое окружает, ласкает меня; но я чувствую беспокійство и как будто не узнаю её. «Ежели это точно ты,— говорю я,— то покажись мне лучше, чтобы я мог обнять тебя». И мне отвечает её голос: «Здесь мы все такие, я не могу лучше обнять тебя. Разве тебе не хорошо так?» — «Нет, мне очень хорошо, но ты не можешь щекотать меня, и я не могу целовать твоих рук...» — «Не надо этого, здесь и так прекрасно»,— говорит она, и я чувствую, что точно прекрасно, и мы вместе с ней летим всё выше и выше. Тут я как будто просыпаюсь и нахожу себя опять на сундуке, в тёмном чулане, с мокрыми от слез щеками, без всякой мысли, твердящего слова: *и мы всё летим выше и выше*. Я долго употребляю всевозможные усилія, чтобы уяснить своё положеніе; но умственному взору моему представляется в настоящем только одна страшная, непроницаемая даль. Я стараюсь снова возвратиться к тем отрадным, счастливым мечтам, которые прервало сознание действительности; но, к удивленію моему, как скоро вхожу в колею прежних мечтаній, я вижу, что продолженіе их невозможно и, что всего удивительнее, не доставляет уже мне никакого удовольствія.

ПЕРЕМЕЛЕТСЯ, МУКА БУДЕТ



Я ночевал в чулане, и никто не приходил ко мне; только на другой день, то есть в воскресенье, меня перевели в маленькую комнату, подле классной, и опять заперли. Я начинал надеяться, что наказание мое ограничится заточением, и мысли мои, под влиянием сладкого, крепительного сна, яркого солнца, игравшего на морозных узорах окон, и дневного обыкновенного шума на улицах, начинали успокаиваться. Но уединение всё-таки было очень тяжело: мне хотелось двигаться, рассказать кому-нибудь всё, что накопилось у меня на душе, и не было вокруг меня живого создания. Положение это было ещё более неприятно потому, что, как мне ни противно было, я не мог не слышать, как St.-Jérôme, прогуливаясь по своей комнате, насвистывал совершенно спокойно какие-то весёлые мотивы. Я был вполне убеждён, что ему вовсе не хотелось свистать, но что он делал это единственно для того, чтобы мучить меня.

В два часа St.-Jérôme и Володя сошли вниз, а Николай принёс мне обед, и когда я разговорился с ним о том, что я надёлся и что ожидает меня, он сказал:

— Эх, сударь! Не тужите, перемелется, мука будет.

Хоть это изречение, не раз и впоследствии поддерживавшее твёрдость моего духа, несколько утешило меня, но именно то обстоятельство, что мне прислали не один хлеб и воду, а весь обед, даже и пирожное розанчики, заставило меня сильно призадуматься. Ежели бы мне не прислали розанчиков, то знало бы, что меня наказывают заточением, но теперь выходило, что я ещё не наказан, что я только удалён от других, как вредный человек, а что наказание впереди. В то время, как я был углублён в разрешение этого вопроса, в замке моей темницы повернулся ключ, и St.-Jérôme с суровым и официальным лицом вошёл в комнату.

— Пойдёмте к бабушке,— сказал он, не глядя на меня.

Я хотёл было почистить рукава курточки, запачкавшиеся мёлом, прежде чем выйти из комнаты, но St.-Jérôme сказал мне, что это совершенно бесполезно, как будто я находился уже в таком жалком нравственном положении, что о наружном своём виде не стоило и заботиться.

Катенька, Любочка и Володя посмотрели на меня в то время, как St.-Jérôme за руку проводил меня через залу, точно с тем же выражением, с которым мы обыкновенно смотрели на колёдников, проводимых по понедельникам мимо наших окон. Когда же я подошёл к креслу бабушки, с намерением поцеловать её руку, она отвернулась от меня и спрятала руку под мантилью.

— Да, мой милый,— сказала она после довольно продолжительного молчания, во время которого она осмотрела меня с ног до головы таким взглядом, что я не знал, куда девать свои глаза и руки,— могу сказать, что вы очень цените мою любовь и составляете для меня истинное утешение. Monsieur St.-Jérôme, который по моей просьбе,— прибавила она, растягивая каждое слово,— взялся за ваше воспитание, не хочет теперь оставаться в моём доме. Отчего? от вас, мой милый. Я надеялась, что вы будете благодарны,— продолжала она, помолчав немного и тоном, который доказывал, что речь её была приготовлена заблаговременно,— за попечения и труды его, что вы будете уметь ценить его заслуги, а вы, молодкосос, мальчишка, решились поднять на него руку. Очень хорошо! Прекрасно!! Я тоже начинаю думать, что вы не способны понимать благородного обращения, что на вас нужны другие, низкие средства... Проси сейчас прощения,— прибавила она строго-повелительным тоном, указывая на St.-Jérôme'а,— слышишь?

Я посмотрел по направлению руки бабушки и, увидев сюртук St.-Jérôme'а, отвернулся и не трогался с места, снова начиная ощущать замирание сердца.

— Что же? Вы не слышите разве, что я вам говорю?

Я дрожал всем телом, но не трогался с места.

— Кокó! — сказала бабушка, должно быть замétив внутренние страдания, которые я испытывал.— Кокó,— сказала она уже не столько повелительным, сколько нежным голосом,— ты ли это?

— Бабушка! Я не буду просить у него прощения

ни за что...— сказа́л я, вдруг остано́вливаясь, чу́вствуя, что не в состоя́нии бу́ду удержа́ть слёз, дави́вших меня́, ежели скажу́ ещё́ одно́ сло́во.

— Я прика́зываю тебѣ, я прошу́ тебя́. Что же ты?

— Я... я... не... хочу́... я не могу́,— проговори́л я, и сде́ржанные рыда́ния, накопи́вшиеся в моёй груди́, вдруг опроки́нули прегра́ду, уде́рживавшую их, и разрази́лись отча́янным пото́ком.

— C'est ainsi que vous obéissez à votre seconde mère, c'est ainsi que vous reconnaissez ses bontés,— сказа́л St.-Jérôme трагическим го́лосом,— à genoux!¹

— Бо́же мой, ежели бы она́ ви́дела это́!— сказа́ла ба́бушка, отворáчиваясь от меня́ и отира́я показáвшиеся слёзы.— Ежели бы она́ ви́дела... всё к лу́чшему. Да, она́ не перенесла́ бы это́го го́ря, не перенесла́ бы.

И ба́бушка пла́кала всё сильне́й и сильне́й. Я пла́кал то́же, но и не ду́мал проси́ть прощё́ния.

— Tranquillisez-vous au nom du ciel, madame la comtesse²,— говори́л St.-Jérôme.

Но ба́бушка уже́ не слу́шала его́, она́ закры́ла лицо́ рука́ми, и рыда́ния её ско́ро перешли́ в ико́ту и истэ́рику. В ко́мнату с испуганными ли́цами вбежа́ли Мими́ и Га́ша, запа́хло какими́-то спиртáми, и по все́му до́му вдруг подня́лись бего́тня́ и шепта́нье.

— Любу́йтесь на ва́ше де́ло,— сказа́л St.-Jérôme, уводи́ меня́ на верх.

«Бо́же мой, что я наделал! Како́й я ужáсный преступник!»

То́лько что St.-Jérôme, сказа́в мне, что́бы я шёл в свою́ ко́мнату, спусти́лся вниз,— я, не отдава́я себе́ отчёта в том, что я де́лаю, побежа́л по большо́й ле́стнице, веду́щей на у́лицу.

Хотёл ли я убежа́ть совсе́м из до́ма или уто́питься, не по́мню; зна́ю то́лько, что, закры́в лицо́ рука́ми, что́бы не ви́дать никогó, я бежа́л всё да́льше и да́льше по ле́стнице.

— Ты куда́?— спроси́л меня́ вдруг знако́мый го́лос.— Тебя́-то мне и ну́жно, голу́бчик.

Я хотёл бы́ло пробежа́ть ми́мо, но папа́ схвати́л меня́ за руку́ и стро́го сказа́л:

¹ Та́к-то вы повинё́тесь своёй второ́й ма́тери, та́к-то вы отпла́чиваете за её доброту́ ...на колéни! (*франц.*)

² Ра́ди бо́га, успоко́йтесь, графиня́ (*франц.*).

— Пойдём-ка со мной, любезный! Как ты смел трогать портфель в моём кабинете,— сказал он, вводя меня за собой в маленькую диванную.— А? что ж ты молчишь? а? — прибавил он, взяв меня за ухо.

— Виноват,— сказал я,— я сам не знаю, что на меня нашло.

— А, не знаешь, что на тебя нашло, не знаешь, не знаешь, не знаешь,— повторял он, с каждым словом потрясая моё ухо,— будешь вперед совать нос, куда не следует, будешь? будешь?

Несмотря на то, что я ощущал сильнейшую боль в ухе, я не плакал, а испытывал приятное моральное чувство. Только что папа выпустил моё ухо, я схватил его руку и со слезами принялся покрывать её поцелуями.

— Бей меня ещё,— говорил я сквозь слезы,— крепче, больнее, я негодный, я гадкий, я несчастный человек!

— Что с тобой? — сказал он, слегка отталкивая меня.

— Нет, ни за что не пойду,— сказал я, цепляясь за его сюртук.— Все ненавидят меня, я это знаю, но, ради бога, ты выслушай меня, защити меня или выгони из дома. Я не могу с ним жить, он всячески старается унижить меня, велит становиться на колени перед собой, хочет высесть меня. Я не могу этого, я не маленький, я не перенесу этого, я умру, убью себя. Он сказал бабушке, что я негодный; она теперь больна, она умрёт от меня, я... с... ним... ради бога, высеки... за... что... му...чат.

Слезы душили меня, я сел на диван и, не в силах говорить более, упал головой ему на колёна, рыдая так, что мне казалось, я должен был умереть в ту же минуту.

— Об чём ты, пузырь? — сказал папа с участием, наклоняясь ко мне.

— Он мой тиран... мучитель... умру... никто меня не любит! — едва мог проговорить я, и со мной сделались конвульсии.

Папа взял меня на руки и отнёс в спальню. Я заснул.

Когда я проснулся, было уже очень поздно, одна свечка горела около моей кровати, и в комнате сидели наш домашний доктор, Мими и Любочка. По лицам их заметно было, что боялись за моё здоровье. Я же чувствовал себя так хорошо и легко после двенадцатичасового сна, что сейчас бы вскочил с постели, ежели бы мне не неприятно было расстроить их уверенность в том, что я очень болен.

НЕНАВИСТЬ



Да, это было настоящее чувство ненависти, не той ненависти, про которую только пишут в романах и в которую я не верю, ненависти, которая будто находит наслаждение в делании зла человеку, но той ненависти, которая внушает вам непреодолимое отвращение к человеку, заслуживающему, однако, ваше уважение, делает для

вас противными его волоса, шею, походку, звук голоса, все его члены, все его движения и вместе с тем какой-то непонятной силой притягивает вас к нему и с беспокойным вниманием заставляет следить за малейшими его поступками. Я испытывал это чувство к St.-Jérôme.

St.-Jérôme жил у нас уже полтора года. Обсуживая теперь хладнокровно этого человека, я нахожу, что он был хороший француз, но француз в высшей степени. Он был не глуп, довольно хорошо учен и добросовестно исполнял в отношении нас свою обязанность, но он имел общие всем его землякам и столь противоположные русскому характеру отличительные черты легкомысленного эгоизма, тщеславия, дерзости и невежественной самоуверенности. Все это мне очень не нравилось. Само собою разумеется, что бабушка объяснила ему свое мнение насчет телесного наказания, и он не смел бить нас; но, несмотря на это, он часто угрожал, в особенности мне, розгами и выговаривал слово fouetter¹ (как-то fouatter) так отвратительно и с такой интонацией, как будто высечь меня доставило бы ему величайшее удовольствие.

Я несколько не боялся боли наказания, никогда не испытывал её, но одна мысль, что St.-Jérôme может ударить меня, приводила меня в тяжёлое состояние подавленного отчаяния и злости.

Случалось, что Карл Иванович, в минуту досады, лично расправлялся с нами линейкой или помочами; но я без малейшей досады вспоминаю об этом. Даже в то время, о котором я говорю (когда мне было четырнадцать лет), ежели бы Карлу Ивановичу случилось прико-

¹ Сечь (франц.).

лотить меня, я хладнокрѣвно перенѣс бы его побѣи. Карла Иваныча я любил, помнил его с тех пор, как самого себя, и привык считать членом своего семейства; но St.-Jérôme был человек гордый, самодовольный, к которому я ничего не чувствовал, кроме того небольшого уважения, которое внушали мне все *большие*. Карл Иванович был смешной старик *дядька*, которого я любил от души; но ставил все-таки ниже себя в моем детском понимании общественного положения.

St.-Jérôme, напротив, был образованный, красивый молодой щеголь, старающийся стать наравне со всеми. Карл Иванович бранил и наказывал нас всегда хладнокрѣвно, видно было, что он считал это хотя необходимою, но неприятною обязанностью. St.-Jérôme, напротив, любил драпироваться в роль наставника; видно было, когда он наказывал нас, что он делал это более для собственного удовольствия, чем для нашей пользы. Он увлекался своим величием. Его пышные французские фразы, которые он говорил с сильными ударениями на последнем слѣге, *accent circonflex*'ами, были для меня невыразимо противны. Карл Иванович, рассердившись, говорил «кукольная комедия, шалуныя мальшик, шампанская мушка». St.-Jérôme называл нас *mauvais sujet*, *vilain garnement*¹ и т. п. названиями, которые оскорбляли мое самолюбие.

Карл Иванович ставил нас на колени лицом в угол, и наказание состояло в физической боли, происходившей от такого положения; St.-Jérôme, выпрямляя грудь и делая величественный жест рукою, трагическим голосом кричал: «*A genoux, mauvais sujet!*», приказывал становиться на колени лицом к себе и просить прощения. Наказание состояло в унижении.

Меня не наказывали, и никто даже не напоминал мне о том, что со мной случилось; но я не мог забыть всего, что испытал: отчаяния, стыда, страха и ненависти в эти два дня. Несмотря на то, что с того времени St.-Jérôme, как казалось, махнул на меня рукою, почти не занимался мною, я не мог привыкнуть смотреть на него равнодушно. Всякий раз, когда случайно встречались наши глаза, мне казалось, что во взгляде моем выражается слишком явная неприязнь, и я спешил принять выра-

¹ Негодяй, мерзавец (франц.).

жѣние равнодушія, но тогда мнѣ казало́сь, что он пони-
мает моѣ притворство, я краснѣл и вовсе отворачивался.

Однимъ словом, мнѣ невыразимо тяжело́ было имѣть с
ним какіе бы то ни́ было отношенія.

Глава XVIII

ДЕВИЧЬЯ



Я чувствовал себя всё болѣе и болѣе одино́ким, и гла́вными мой-
ми удовольствіями бы́ли уединѣн-
ные размышленія и наблюденія.
О предметѣ моихъ размышленийъ
расскажѹ в слѣдующей главѣ; те-
атромъ же моихъ наблюденій пре-
имѹщественно была́ дѣвичья, в кото́рой происходи́л весь-
ма́ для меня занимательный и трогательный романъ. Гер-
оиней этого романа, само́ собою разумѣется, была́
Ма́ша. Она́ была́ влюблена́ в Васи́лья, знавшего её ещё
тогда, когда она́ жила́ на во́ле, и обеща́вшего ещё тогда́
на ней жениться. Судьба́, разлучившая ихъ пять летъ тому́
наза́д, снова соединила́ ихъ в ба́бушкиномъ до́ме, но поло-
жила́ прегра́ду ихъ взаимной любви́ в лице́ Никола́я (род-
но́го дяди Ма́ши), не хотѣвшего и слышать о замѹжестве
свое́й племянницы с Васи́льем, кото́рого он называ́л че-
лове́ком несообра́знымъ и необу́зданнымъ.

Прегра́да эта́ сдѣлала то, что пре́жде доволно́ хлад-
нокрѣвный и небре́жный в обращеніи Васи́лій вдругъ
влюбился́ в Ма́шу, влюбился́ так, как то́лько спосо́бен
на тако́е чувство дво́ровый человекъ из портныхъ, в розовой
рубашке́ и с напوما́женными волоса́ми.

Несмотря́ на то, что проявленія его́ любви́ были весь-
ма́ странны́ и несообра́зны (напримѣр, встреча́я Ма́шу,
он всегда́ стара́лся причинить ей боль, или щипа́л её,
или бил ладо́нью, или сжималъ её с тако́й силой́, что она́
едва́ могла́ переводить дыха́ние), но са́мая любовь́ его́
была́ искренна, что доказы́вается уже́ тем, что с той по-
ры́, как Никола́й решительно́ отказа́л ему́ в руке́ свое́й
племянницы, Васи́лій за́пил с го́ря, стал шля́ться по ка-
бакамъ, буйнить — однимъ сло́вом, вести́ себя́ так ду́рно,
что не раз подверга́лся посты́дному наказанію на съѣз-

жей. Но поступки эти и их последствия, казалось, были заслугой в глазах Машы и увеличивали ещё её любовь к нему. Когда Василий *содержался в части*, Маша по целым дням, не осушая глаз, плакала, жаловалась на свою горькую судьбу Гаши (принимавшей живое участие в делах несчастных любовников) и, презирая брань и побои своего дяди, потихоньку бегала в полицию навещать и утешать своего друга.

Не гнушайтесь, читатель, обществом, в которое я ввожу вас. Ежели в душе вашей не ослабли струны любви и участия, то и в девичьей найдутся звуки, на которые они отзовутся. Угодно ли вам, или не угодно будет следовать за мною, я отправляюсь на площадку лестницы, с которой мне видно всё, что происходит в девичьей.— Вот лежанка, на которой стоят уют, картонная кукла с разбитым носом, лоханка, рукоюйник; вот окно, на котором в беспорядке валяются кусочек чёрного воска, моток шёлку, откушенный зелёный огурец и конфетная коробочка, вот и большой красный стол, на котором, на начатом шитье, лежит кирпич, обшитый ситцем, и за которым сидит *она* в моём любимом розовом холстинковом платье и голубой косынке, особенно привлекающей моё внимание. *Она* шьёт, изредка останавливаясь, чтобы почесать иглой голову или поправить свечку, а я смотрю и думаю: «Отчего она не родилась барыней, с этими светлыми голубыми глазами, огромной русой косой и высокой грудью? Как бы ей пристало сидеть в гостиной, в чепчике с розовыми лентами и в малиновом шёлковом капоте, не в таком, какой у Мими, а какой я видел на Тверском бульваре. Она бы шила в пальцах, а я бы в зеркало смотрел на неё, и, что бы ни захотела, я всё бы для неё делал; подавал бы ей салон, кушанье сам бы подавал...»

И что за пьяное лицо и отвратительная фигура у этого Василья в узком сюртуке, надетом сверх грязной розовой рубашки навыпуск! В каждом его телодвижении, в каждом изгибе его спины, мне кажется, что я вижу несомненные признаки отвратительного наказания, постигнувшего его...

— Что, Вася? опять...— сказала Маша, втыкая иглу в подушку и не поднимая головы навстречу входившему Василью.

— А что ж? разве от него добро будет,— отвечал Ва-

— Да и сделаю ж я один конец, — продолжал Василий, ближе подсаживаясь к Маше, как только Надежда вышла из комнаты, — либо пойду прямо к графине, скажу: «так и так», либо уж... брошу всё, убегу на край света, ей-богу.

— А я как останусь...

— Одну тебя жалёю, а то бы уж даа...вно моя голóвушка на воле была, ей-богу, ей-богу.

— Что это ты, Вáся, мне свой рубáшки не принесёшь постира́ть, — сказа́ла Ма́ша по́сле мину́тного молча́ния, — а то, вишь, кака́я чёрная, — прибáвила она́, взяв его́ за во́рот рубáшки.

В это вре́мя внизú послышался колоко́льчик ба́бушки, и Га́ша вы́шла из своёй ко́мнаты.

— Ну чего́, по́длый человек, от неё добивáешься? — сказа́ла она́, толка́я в дверь Васи́лья, кото́рый торопливо встал, увида́в её. — Довёл де́вку до э́того, да ещё пристаёшь, ви́дно, вёсело тебе́, оголте́лый, на её слёзы смотре́ть. Вон пощёл. Чтóбы дúху твоего́ не было. И чего́ хоро́шего в нём нашлá? — продолжа́ла она́, обраща́ясь к Ма́ше. — Ма́ло тебя́ колотил ны́нче дядя за него́? Нет, всё своё: ни за когó не пойду́, как за Васи́лья Груско́ва. Ду́ра!

— Да и не пойду́ ни за когó, не люблю́ никогó, хоть убей меня́ до́ смерти за него́, — проговори́ла Ма́ша, вдруг разлива́ясь слезáми.

До́лго я смотре́л на Ма́шу, кото́рая, лёжа на сундуке́, утира́ла слёзы своёй косы́нкой, и, всячески стара́ясь изменять свой взгляд на Васи́лья, я хоте́л найти́ ту то́чку зрени́я, с кото́рой он мог казáться ей столь привле́кательным. Но, несмотря́ на то, что я искренно сочу́ствовал её печа́ли, я никак не мог пости́гнуть, каки́м образом тако́е очарова́тельное создáние, каки́м каза́лась Ма́ша в моих глазах, могло́ любить Васи́лья.

«Когда́ я бу́ду большо́й, — рассужда́л я сам с собо́й, верну́вшись к себе́ на верх, — Петро́вское доста́нется мне, и Васи́лий и Ма́ша бу́дут мой крепостные́. Я бу́ду сидеть в кабинéте и курить тру́бку, Ма́ша с утюго́м пройде́т в кухню́. Я скажу́: «Позови́те ко мне Ма́шу». Она́ приде́т, и никогó не бу́дет в ко́мнате... Вдруг войде́т Васи́лий и, когда́ уви́дит Ма́шу, ска́жет: «Пропáла моя́ голóвушка!» — и Ма́ша то́же запла́чет; а я скажу́: «Васи́лий! я зна́ю, что ты люби́шь её и она́ тебя́ любит, на́ вот тебе́

тысячу рублей, женись на ней, и дай бог тебе счастья», — а сам уйду в диванную». Между бесчисленным количеством мыслей и мечтаний, без всякого следа проходящих в уме и воображении, есть такие, которые оставляют в них глубокую чувствительную борозду; так что часто, не помня уже сущности мысли, помнишь, что было что-то хорошее в голове, чувствуешь след мысли и стараешься снова воспроизвести её. Такого рода глубокий след оставила в моей душе мысль о пожертвовании своего чувства в пользу счастья Маши, которое она могла найти только в супружестве с Васильем.

Глава XIX

ОТРОЧЕСТВО



Едва ли мне поверят, какие были любимейшие и постояннейшие предметы моих размышлений во время моего отрочества, — так они были несообразны с моим возрастом и положением. Но, по моему мнению,

несообразность между положением человека и его моральной деятельностью есть вернейший признак истины. В продолжение года, во время которого я вёл уединённую, сосредоточенную в самом себе, моральную жизнь, все отвлечённые вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души уже представились мне; и детский слабый ум мой со всем жаром непытности старался уяснить те вопросы, предложение которых составляет высшую ступень, до которой может достигать ум человека, но разрешение которых не дано ему.

Мне кажется, что ум человеческий в каждом отдельном лице проходит в своём развитии по тому же пути, по которому он развивается в целых поколениях, что мысли, служившие основанием различных философских теорий, составляют нераздельные части ума; но что каждый человек более или менее ясно сознавал их ещё прежде, чем знал о существовании философских теорий.

Мысли эти представлялись моему уму с такою ясно-стью и поразительностью, что я даже старался применить их к жизни, воображая, что я *первый* открываю такие великие и полезные истины.

Раз мне пришла мысль, что счастье не зависит от внешних причин, а от нашего отношения к ним, что человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив, и, чтобы приучить себя к труду, я, несмотря на страшную боль, держал по пять минут в вытянутых руках лексикона Татищева или уходил в чулан и верёвкой стегал себя по голой спине так больно, что слёзы невольно выступали на глазах.

Другой раз, вспомнив вдруг, что смерть ожидает меня каждый час, каждую минуту, я решил, не понимая, как не поняли того до сих пор люди, что человек не может быть иначе счастлив, как пользуясь настоящим и не помышляя о будущем, — и я дня три, под влиянием этой мысли, бросил уроки и занимался только тем, что, лёжа на постели, наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников с кроновским мёдом, которые я покупал на последние деньги.

То раз, стоя перед чёрной доской и рисуя на ней мелом разные фигуры, я вдруг был поражён мыслью: почему симметрия приятна для глаз? что такое симметрия? Это врождённое чувство, отвечал я сам себе. На чём же оно основано? Разве во всём в жизни симметрия? Напротив, вот жизнь — и я нарисовал на доске овальную фигуру. После жизни душа переходит в вечность; вот вечность — и я провёл с одной стороны овальной фигуры черту до самого края доски. Отчего же с другой стороны нету такой же черты? Да и в самом деле, какая же может быть вечность с одной стороны, мы, верно, существовали прежде этой жизни, хотя и потеряли о том воспоминание.

Это рассуждение, казавшееся мне чрезвычайно новым и ясным и которого связь я с трудом могу уловить теперь, — понравилось мне чрезвычайно, и я, взяв лист бумаги, вздумал письменно изложить его, но при этом в голову мою набралась вдруг такая бездна мыслей, что я принуждён был встать и пройтись по комнате. Когда я подошёл к окну, внимание моё обратила водовозка, которую запрягал в это время кучер, и все мысли мои сосредоточились на решении вопроса: в какой жи-

вотное или человека перейдет душа этой водовозки, когда она околбает? В это время Володя, проходя через комнату, улыбнулся, заметив, что я размышлял о чём-то, и этой улыбке мне достаточно было, чтобы понять, что всё то, о чём я думал, была ужаснейшая гиль.

Я рассказал этот почему-то мне памятный случай только затем, чтобы дать понять читателю о том, в каком роде были мои умствования.

Но ни одним из всех философских направлений я не увлекался так, как скептицизмом, который одно время довёл меня до состояния близкого сумасшествия. Я воображал, что, кроме меня, никого и ничего не существует во всём мире, что предметы не предметы, а образы, являющиеся только тогда, когда я на них обращаю внимание, и что, как скоро я перестаю думать о них, образы эти тотчас же исчезают. Одним словом, я сошёлся с Шеллингом в убеждении, что существуют не предметы, а моё отношение к ним. Были минуты, что я, под влиянием этой *постоянной идеи*, доходил до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался в противоположную сторону, надеясь, врасплох, застать пустоту (*néant*) там, где меня не было.

Жалкая, ничтожная пружина моральной деятельности — ум человека!

Слабый ум мой не мог проникнуть непроницаемого, а в непосильном труде терял одно за другим убеждения, которые для счастья моей жизни я никогда бы не должен был сметь затрагивать.

Из всего этого тяжёлого морального труда я не вынес ничего, кроме изворотливости ума, ослабившей во мне силу воли, и привычки к постоянному моральному анализу, уничтожившей свежесть чувства и ясность рассудка.

Отвлечённые мысли образуются вследствие способности человека уловить сознанием в известный момент состояние души и перенести его в воспоминание. Склонность моя к отвлечённым размышлениям до такой степени неестественно развилась во мне сознание, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадал в безвыходный круг анализа своих мыслей, я не думал уже о вопросе, занимавшем меня, а думал о том, о чём я думал. Спрашивая себя: о чём я думаю? — я отвечал: я думаю, о чём я думаю. А теперь о чём я думаю? Я ду-

маю, что я думаяю, о чём я думаяю, и так далее. Ум за разум заходил...

Однако философские открытия, которые я делал, чрезвычайно льстили моему самолюбию: я часто воображал себя великим человеком, открывающим для блага всего человечества новые истины, и с гордым сознанием своего достоинства смотрел на остальных смертных; но, странно, приходя в столкновение с этими смертными, я робел перед каждым и чем выше ставил себя в собственном мнении, тем менее был способен с другими не только выказывать сознание собственного достоинства, но не мог даже привыкнуть не стыдиться за каждое своё самое простое слово и движение.

Глава XX

ВОЛОДЯ



Да, чем дальше подвигаюсь я в описании этой поры моей жизни, тем тяжелее и труднее становится оно для меня. Редко, редко между воспоминаниями за это время нахожу я минуты истинного тёплого чувства, так ярко и постоянно освещавшего начало моей жизни. Мне невольно хочется пробежать скорее пустыню отрочества и достигнуть той счастливой поры, когда снова истинно нежное,

благородное чувство дружбы ярким светом озарило конец этого возраста и положило начало новой, исполненной прелести и поэзии, поре юности.

Не стану час за часом следить за своими воспоминаниями, но брошу быстрый взгляд на главнейшие из них с того времени, до которого я довёл своё повествование, и до сближения моего с необыкновенным человеком, имевшим решительное и благотворное влияние на мой характер и направление.

Володя на днях поступает в университет, учителя уже ходят к нему отдельно, и я с завистью и невольным уважением слушаю, как он, бойко постукивая мелом о чёрную доску, толкует о функциях, синусах, координатах и т. п., которые кажутся мне выражениями недося-

гаемой премудрости. Но вот в одно воскресенье, после обеда, в комнате бабушки собираются все учителя, два профессора и в присутствии папы и некоторых гостей делают репетицию университетского экзамена, в котором Володя, к великой радости бабушки, выказывает необыкновенные познания. Мне тоже делают вопросы из некоторых предметов, но я оказываюсь весьма плох, и профессора, видимо, стараются перед бабушкой скрыть мое незнание, что еще более конфузит меня. Впрочем, на меня мало и обращают внимания: мне только пятнадцать лет, следовательно, остается еще год до экзамена. Володя только к обеду сходит вниз, а целые дни и даже вечера проводит наверху за занятиями, не по принуждению, а по собственному желанию. Он чрезвычайно самолюбив и не хочет выдержать экзамен посредственно, а отлично.

Но вот наступил день первого экзамена. Володя надевает синий фрак с бронзовыми пуговицами, золотые часы и лакированные сапоги; к крыльцу подаёт фаэтон папа, Николай откидывает фартук, и Володя с St.-Jérôme'ом едут в университет. Девочки, в особенности Катенька, с радостными, восторженными лицами смотрят в окно на стройную фигуру садящегося в экипаж Володи, папа говорит: «Дай бог, дай бог», — а бабушка, тоже притаившаяся к окну, со слезами на глазах, крестит Володю до тех пор, пока фаэтон не скрывается за углом переулка, и шепчет что-то.

Володя возвращается. Все с нетерпением спрашивают его: «Что? хорошо? сколько?», но уже по веселому лицу его видно, что хорошо. Володя получил пять. На другой день с теми же желаниями успеха и страхом провожают его и встречают с тем же нетерпением и радостью. Так проходит девять дней. На десятый день предстоит последний, самый трудный экзамен — закона божьего, все стоит у окна и еще с большим нетерпением ожидают его. Уже два часа, а Володи нет.

— Боже мой! Батюшки!!! они!! они!! — кричит Любочка, прильнув к стеклу.

И действительно, в фаэтоне рядом с St.-Jérôme'ом сидит Володя, но уже не в синем фраке и серой фуражке, а в студенческом мундире с шитым голубым воротником, в треугольной шляпе и с позолоченной шпáгой на боку.

— Что, ежели бы ты была жива! — вскрикивает бабушка, увидав Володю в мундире, и падает в обморок.

Володя с сияющим лицом вбегает в переднюю, целует и обнимает меня, Любочку, Мими и Катеньку, которая при этом краснеет до самых ушей. Володя не помнит себя от радости. И как он хорош в этом мундире! Как идёт голубой воротник к его чуть пробивающимся чёрным усикам! Какая у него тонкая длинная талия и благородная походка! В этот достопамятный день все обедают в комнате бабушки, на всех лицах сияет радость, и за обедом, во время пирожного, дворецкий, с прилично-величавой и вместе весёлой физиономией, приносит завернутую в салфетку бутылку шампанского. Бабушка в первый раз после кончины тапап пьёт шампанское, выпивает целый бокал, поздравляя Володю, и снова плачет от радости, глядя на него. Володя уже один в собственном экипаже выезжает со двора, принимает к себе своих знакомых, курит табак, ездит на балы, и даже я сам видел, как раз он в своей комнате выпил две бутылки шампанского с своими знакомыми и как они при каждом бокале называли здоровье каких-то таинственных особ и спорили о том, кому достанется le fond de la bouteille¹. Он обедал, однако, регулярно дома и после обеда по-прежнему усаживается в диванной и о чём-то вечно-тайнственно беседует с Катенькой; но сколько я могу слышать — как не принимающий участия в их разговорах, — они толкуют только о героях и героинях прочитанных романов, о ревности, о любви; и я никак не могу понять, что они могут находить занимательного в таких разговорах и почему они так тонко улыбаются и горячо спорят.

Вообще я замечаю, что между Катенькой и Володей, кроме понятной дружбы между товарищами детства, существуют какие-то странные отношения, отдаляющие их от нас и таинственно связывающие их между собой.

¹ Последний глоток (франц.).

КАТЕНЬКА И ЛЮБОЧКА



Катеньке шестнадцать лет; она выросла; угловатость форм, застенчивость и неловкость движений, свойственные девочке в переходном возрасте, уступили место гармонической свежести и грациозности только что распустившегося цветка; но она не переменилась. Те же светло-голубые глаза и улыбающийся взгляд, тот же, составляющий почти одну линию со лбом, прямой носик с крепкими ноздрями и ротик с светлой улыбкой, те же крошечные ямочки на розовых прозрачных щёчках, те же беленькие ручки... и к ней по-прежнему почему-то чрезвычайно идёт название *чистенькой* девочки. Нового в ней только густая русая коса, которую она носит как большие, и молодая грудь, появление которой заметно радует и стыдит её.

Несмотря на то, что Любочка всегда росла и воспитывалась с нею вместе, она во всех отношениях совсем другая девочка.

Любочка невысока ростом и, вследствие английской болезни, у неё ноги до сих пор ещё гусем и прегадкая талия. Хорошего во всей её фигуре только глаза; и глаза эти действительно прекрасны — большие, чёрные, и с таким неопределимо приятным выражением важности и наивности, что они не могут не остановить внимания. Любочка во всём проста и натуральна; Катенька же как будто хочет быть похожей на кого-то. Любочка смётрит всегда прямо и иногда, остановив на ком-нибудь свои огромные чёрные глаза, не спускает их так долго, что её бранят за это, говоря, что это неучтиво; Катенька, напротив, опускает ресницы, щурится и уверяет, что она близорука, тогда как я очень хорошо знаю, что она прекрасно видит. Любочка не любит ломаться при посторонних, и, когда кто-нибудь при гостях начинает целовать её, она дуется и говорит, что терпеть не может *нежностей*; Катенька, напротив, при гостях всегда делается особенно нежна к Мимй и любит, обнявшись с

какой-нибудь девочкой, ходить по залу. Любочка страшная хохотунья и иногда, в припадке смеха, машет руками и бегает по комнате; Катенька, напротив, закрывает рот платком или руками, когда начинает смеяться. Любочка всегда сидит прямо и ходит опустив руки; Катенька держит голову несколько набок и ходит сложив руки. Любочка всегда ужасно рада, когда ей удаётся поговорить с большим мужчиной, и говорит, что она непременно выйдет замуж за гусара; Катенька же говорит, что все мужчины ей гадки, что она никогда не выйдет замуж, и делается совсем другая, как будто она боится чего-то, когда мужчина говорит с ней. Любочка вечно негодует на Мими за то, что её так стягивают корсетами, что «дышать нельзя», и любит покушать; Катенька, напротив, часто, поддевая палец под мыс своего платья, показывает нам, как оно ей широко, и ест чрезвычайно мало. Любочка любит рисовать головки; Катенька же рисует только цветы и бабочек. Любочка играет очень отчётливо фильдовские концерты, некоторые сонаты Бетховена; Катенька играет варьяции и вальсы, задерживает темп, стучит, беспрестанно берёт педаль и, прежде чем начинать играть что-нибудь, с чувством берёт три аккорда *arpeggio*...¹

Но Катенька, по моему тогдашнему мнению, больше похожа на большую, и поэтому гораздо больше мне нравится.

Глава XXII

ПАПА



Папа особенно весел с тех пор, как Володя поступил в университет, и чаще обыкновенного приходит обедать к бабушке. Впрочем, причина его веселья, как я узнал от Николая, состоит в том, что он в последнее время выиграл чрезвычайно много. Случается даже, что он вечером, перед клубом, заходит к нам, садится за фортепьяно, собирает нас вокруг себя и, притопты-

¹ Арпеджио — звуки аккорда, следующие один за другим.

вая своими мягкими сапогами (он терпеть не может каблучков и никогда не носит их), поёт цыганские песни. И надобно тогда видеть смешной восторг его любимицы Любочки, которая с своей стороны обожает его. Иногда он приходит в классы и с строгим лицом слушает, как я скрываю уроки, но по некоторым словам, которыми он хочет поправить меня, я замечаю, что он плохо знает то, чему меня учат. Иногда он потихоньку мигает и делает нам знаки, когда бабушка начинает ворчать и сердиться на всех без причины. «Ну, досталось же нам, дети», — говорит он потом. Вообще он понемногу спускается в моих глазах с той недостижимой высоты, на которую его ставило детское воображение. Я с тем же искренним чувством любви и уважения целую его большую белую руку, но уже позволяю себе думать о нём, обсуживать его поступки, и мне невольно приходят о нём такие мысли, присутствие которых пугает меня. Никогда не забуду я случая, внушившего мне много таких мыслей и доставившего мне много моральных страданий.

Один раз, поздно вечером, он, в чёрном фраке и белом жилете, вошёл в гостиную с тем, чтобы взять с собой на бал Володю, который в это время одевался в своей комнате. Бабушка в спальне дождалась, чтобы Володя пришёл показаться ей (она имела привычку перед каждым балом призывать его к себе, благословлять, осматривать и давать наставления). В зале, освещённой только одной лампой, Мими с Катенькой ходили взад и вперед, а Любочка сидела за роялем и твердила второй концерт Фильда, любимую пьесу татап.

Никогда ни в ком не встречал я такого фамильного сходства, как между сестрой и матушкой. Сходство это заключалось не в лице, не в сложении, но в чём-то неуловимом: в руках, в манере ходить, в особенностях в голосе и в некоторых выражениях. Когда Любочка сердилась и говорила: «целый век не пускают», это слово *целый век*, которое имела тоже привычку говорить татап, она выговаривала так, что, казалось, слышал её, как-то протяжно: *це-е-лый век*; но необыкновеннее всего было это сходство в игре её на фортепьяно и во всех приёмах при этом: она так же оправляла платье, так же поворачивала листы левой рукой сверху, так же с досады кулаком била по клавишам, когда долго не удавалось

трудный пассаж, и говорила: «ах, бог мой!», и та же неуловимая нежность и отчётливость игры, той прекрасной фильдовской игры, так хорошо названной *jeu réglé*¹, прелести которой не могли заставить забыть все фокусы новейших пьянистов.

Папа вошёл в комнату скóрыми маленькими шажками и подошёл к Любочке, которая перестала играть, увидев его.

— Нет, играй, Люба, играй,— сказал он, усаживая её,— ты знаешь, как я люблю тебя слушать...

Любочка продолжала играть, а папа долго, облокотившись на руку, сидел против неё; потом, быстро подёрнув плечом, он встал и стал ходить по комнате. Подходя к роялю, он всякий раз останавливался и долго пристально смотрел на Любочку. По движениям и походке его я замечал, что он был в волнении. Пройдя несколько раз по залу, он, остановившись за стулом Любочки, поцеловал её в чёрную голову и потом, быстро повертившись, опять продолжал свою прогулку. Когда, окончив пьесу, Любочка подошла к нему с вопросом: «Хорошо ли?», он молча взял её за голову и стал целовать в лоб и глаза с такой нежностью, какой я никогда не видывал от него.

— Ах, бог мой! ты плачешь! — вдруг сказала Любочка, выпуская из рук цепочку его часов и уставляя на его лицо свои большие удивлённые глаза.— Прости меня, голубчик папа, я совсем забыла, что это *мамашина пьеса*.

— Нет, друг мой, играй почаще,— сказал он дрожащим от волнения голосом,— коли бы ты знала, как мне хорошо поплакать с тобой...

Он ещё раз поцеловал её и, стараясь пересилить внутреннее волнение, подёргивая плечом, вышел в дверь, ведущую через коридор в комнату Волóди.

— Вольдемáр! скоро ли ты? — крикнул он, останавливаясь посреди коридора. В это самое время мимо него проходила горничная Маша, которая, увидав барина, потупилась и хотела обойти его. Он остановил её.

— А ты всё хорошеешь,— сказал он, наклонясь к ней. Маша покраснела и ещё более опустила голову.

— Позвольте,— прошептала она.

— Вольдемáр, что ж, скоро ли? — повторил папа,

¹ Бисерной игрой (франц.).

подёргиваясь и покашливая, когда Маша прошла мимо, и он увидал меня...

Я люблю отца, но ум человека живёт независимо от сердца и часто вмещает в себя мысли, оскорбляющие чувство, непонятные и жестокие для него. И такие мысли, несмотря на то, что я стараюсь удалить их, придут мне...

Глава XXIII

БАБУШКА



Бабушка со дня на день становится слабее; её колокольчик, голос ворчливой Гаши и хлопанье дверями чаще слышатся в её комнате, и она принимает нас уже не в кабинете, в вольтеровском кресле, а в спальне, в высокой постели с подушками, обшитыми кружевами. Здороваясь с нею, я замечаю на её руке бледно-желтоватую глянцевою опухоль, а в комнате тяжёлый запах, который, пять лет тому назад слышал в комнате маутшки. Доктор три раза в день бывает у неё, и было уже несколько консультаций. Но характер, гордое и церемонное обращение её со всеми домашними, а в особенности с папá, нисколько не изменились; она точно так же растягивает слова, поднимает брови и говорит: «Мой милый».

Но вот несколько дней нас уже не пускают к ней, и раз утром St.-Jérôme, во время классов, предлагает мне ехать кататься с Любочкой и Катенькой.

Несмотря на то, что, садясь в сани, я замечаю, что перед бабушкиными окнами улица устлана соломою и что какие-то люди в синих чуйках стоят около наших ворот, я никак не могу понять, для чего нас посылают кататься в такой неурочный час. В этот день, во всё время катанья, мы с Любочкой находимся почему-то в том особенно весёлом расположении духа, в котором каждый простой случай, каждое слово, каждое движение заставляют смеяться.

Разносчик, схватившись за лоток, рысью перебегает через дорогу, и мы смеёмся. Оборванный Ванька галопом, помахивая концами вожжэй, догоняет наши сани,

лентами, тоже за что-то благодарит всех нас, целуя каждого в плечико, я чувствую только запах розовой помады от её волос, но ни малейшего волнения.

Вообще, я начинаю понемногу исцеляться от моих отроческих недостатков, исключая, впрочем, главного, которому суждено наделать мне ещё много вреда в жизни, — склонности к умуствованию.

Глава XXV

ПРИЯТЕЛИ ВОЛОДИ



Хотя в обществе знакомых Володи я играл роль, оскорблявшую моё самолюбие, я любил сидеть в его комнате, когда у него бывали гости, и молча наблюдать всё, что там делалось. Чаше других приходили к Володе адъютант Дубков и студент князь Нехлюдов. Дубков был маленький жилистый брюнет, уже не первой молодости и немного коротконожка, но недурён собой и всегда весел. Он был

один из тех ограниченных людей, которые особенно приятны именно своей ограниченностью, которые не в состоянии видеть предметы с различных сторон и которые вечно увлекаются. Суждения этих людей бываю́т одно-сторонни и ошибочны, но всегда чистосердечны и увлекательны. Даже узкий эгоизм их кажется почему-то простительным и милым. Кроме того, для Володи и меня Дубков имел двойную прелесть — воинственной наружности и, главное, возраста, с которым молодые люди почему-то имеют привычку смешивать понятие порядочности (*comme il faut*), очень высоко ценящую в эти года. Впрочем, Дубков и в самом деле был тем, что называют *un homme comme il faut*¹. Одно, что было мне неприятно, — это то, что Володя как будто стыдился иногда перед ним за мои самые невинные поступки, а всего более за мою молодость.

Нехлюдов был нехорош собой: маленькие серые глаза, невысокий крутой лоб, непропорциональная длина рук и ног не могли быть названы красивыми чертами.

¹ Благовоспитанный человек (франц.).

Хорошего было в нём только — необыкновенно высокий рост, нежный цвет лица и прекрасные зубы. Но лицо это получало такой оригинальный и энергический характер от узких, блестящих глаз и переменчивого, то строгого, то детски-неопределённого выражения улыбки, что нельзя бы не заметить его.

Он, казалось, был очень стыдлив, потому что каждая малость заставляла его краснеть до самых ушей; но застенчивость его не походила на мою. Чем больше он краснел, тем больше лицо его выражало решимость. Как будто он сердился на самого себя за свою слабость.

Несмотря на то, что он казался очень дружным с Дубковым и Володей, заметно было, что только случай соединил его с ними. Направления их были совершенно различны: Володя и Дубков как будто боялись всего, что было похоже на серьёзные рассуждения и чувствительность; Нехлюдов, напротив, был энтузиаст в высшей степени и часто, несмотря на насмешки, пускался в рассуждения о философских вопросах и о чувствах. Володя и Дубков любили говорить о предметах своей любви (и бывали влюблены вдруг в нескольких и оба в одних и тех же); Нехлюдов, напротив, всегда серьёзно сердился, когда ему намекали на его любовь к какой-то рыженькой.

Володя и Дубков часто позволяли себе, любя, подтрунивать над своими родными; Нехлюдова, напротив, можно было вывести из себя, с невыгодной стороны намекнув на его тётку, к которой он чувствовал какое-то восторженное обожание. Володя и Дубков после ужина ездили куда-то без Нехлюдова и называли его *красной девишкой*...

Князь Нехлюдов поразил меня с первого раза как своим разговором, так и наружностью. Но несмотря на то, что в его направлении я находил много общего с своим — или, может быть, именно поэтому, — чувство, которое он внушил мне, когда я в первый раз увидел его, было далеко не приятное.

Мне не нравились его быстрый взгляд, твёрдый гордый вид, но более всего совершенное равнодушие, которое он мне оказывал. Часто во время разговора мне ужасно хотелось противоречить ему; в наказание за его гордость хотелось переспорить его, доказать ему, что

я умён, несмотря на то, что он не хочет обращать на меня никакого внимания.

Стыдливость удерживала меня.

Глава XXVI

РАССУЖДЕНИЯ



Волóдя лежал с нога́ми на дива́не и, облокоти́вшись на́ руку, чита́л ка́кой-то французский рома́н, когда́ я, после́ вечерних кла́ссов, по своему́ обыкнове́нию, вошёл к нему́ в ко́мнату. Он на секунду́ приподнял го́лову, чтобы́ взгляну́ть на меня́, и снова́ принялся за чтéние — дви́жение са́мое простое и естéственное, но кото́рое заставля́ло меня́ покрасне́ть. Мне показáлось, что во взгляде́ его́ выража́лся вопро́с, заче́м я пришёл сюда́, а в бы́стром накло́нении голо́вы жела́ние

скрыть от меня́ значéние взгляда́. Эта склóнность придава́ть значéние са́мому простóму дви́жению составля́ла во мне характеристическую черту́ того́ вóзраста. Я подошёл к столу́ и тоже́ взял кни́гу; но прёжде чем нача́л чита́ть её, мне пришло́ в го́лову, что ка́к-то смешно́, что мы, не вида́вшись це́лый день, ничего́ не говорим друг дру́гу.

— Что, ты до́ма бу́дешь ны́нче ве́чером?

— Не зна́ю, а что?

— Так,— сказа́л я и, замеча́я, что разгово́р не клеи́тся, взял кни́гу и нача́л чита́ть.

Стра́нно, что с глазу́ на гла́з мы по це́лым часа́м проводи́ли мо́лча с Волóдей, но доста́точно бы́ло то́лько прису́тствия да́же молчали́вого тре́тьего лица́, чтобы́ между́ на́ми завязывались са́мые интере́сные и разноо́бразные разгово́ры. Мы чу́ствовали, что сли́шком хоро́шо зна́ем друг дру́га. А сли́шком мно́го и́ли сли́шком ма́ло знать друг дру́га одина́ково меша́ет сбли́жению.

— Волóдя до́ма? — послы́шался в пере́дней го́лос Дубко́ва.

— До́ма,— сказа́л Волóдя, спуска́я но́ги и кладя́ кни́гу на стол.

Дубков и Нехлюдов, в шинелях и шляпах, вошли в комнату.

— Что ж, едем в театр, Володя?

— Нет, мне некогда, — отвечал Володя, краснея.

— Ну, вот ещё! Поедем, пожалуйста.

— Да у меня и билета нет.

— Билетов сколько хочешь у входа.

— Погоди, я сейчас приду, — уклончиво отвечал Володя и, подергивая плечом, вышел из комнаты.

Я знал, что Володе очень хотелось ехать в театр, куда его звал Дубков; что он отказывался потому только, что у него не было денег и что он вышел затем, чтобы у дворцового достать взаймы пять рублей до будущего жалованья.

— Здравствуйте, *дипломат!* — сказал Дубков, подавая мне руку.

Приятели Володи называли меня *дипломатом*, потому что раз, после обеда у покойницы бабушки, она как-то при них, разговорившись о нашей будущности, сказала, что Володя будет военный, а что меня она надеется видеть *дипломатом*, в черном фраке и с причёской à la соф, составлявшей, по её мнению, необходимое условие дипломатического звания.

— Куда это ушёл Володя? — спросил меня Нехлюдов.

— Не знаю, — отвечал я, краснея при мысли, что они, верно, догадываются, зачем вышел Володя.

— Верно, у него денег нет! правда? О! *дипломат!* — прибавил он утвердительно, объясняя мою улыбку. — У меня тоже нет денег, а у тебя есть, Дубков?

— Посмотрим, — сказал Дубков, доставая кошелек и ощупывая в нём весьма тщательно несколько мелких монет своими коротенькими пальцами. — Вот пятачок, вот двугривенник, а то фффю! — сказал он, делая комический жест рукою.

В это время Володя вошёл в комнату.

— Ну что, едем?

— Нет.

— Как ты смешон! — сказал Нехлюдов, — отчего ты не скажешь, что у тебя нет денег. Возьми мой билет, коли хочешь.

— А ты как же?

— Он поедет к кузинам в лóжу, — сказал Дубков.

— Нет, я совсем не поеду.

— Отчего?
— Оттого, что, ты знаешь, я не люблю сидеть в лóже.

— Отчего?

— Не люблю, мне нелóвко.

— Опять старое! не понимаю, отчего тебе может быть нелóвко там, где все тебе очень рады. Это смешно, *mon cher*!

— Что же делать, *si je suis timide!*² Я увéрен, ты в жизни своей никогда не краснел, а я всякую минуту от малейших пустяков! — сказал он, краснея в это же время.

— *Savez vous, d'où vient votre timidité?.. d'un excès d'amour propre, mon cher*³, — сказал Дубков покровительственным тоном.

— Какой тут *excès, d'amour propre!* — отвечал Нехлюдов, задетый за живое. — Напротив, я стыдлив оттого, что у меня слишком мало *amour propre*; мне всё кажется, напротив, что со мной неприятно, скучно... от этого...

— Одевайся же, Володя, — сказал Дубков, схватывая его за плечи и снимая с него сюртук. — Игнат, одевайтесь барину!

— От этого со мной часто бывает... — продолжал Нехлюдов.

Но Дубков уже не слушал его. «Трала-ла та-ра-ра-ла-ла», — запел он какой-то мотив.

— Ты не отделался, — сказал Нехлюдов, — я тебе докажу, что стыдливость происходит совсем не от самолюбия.

— Докажешь, ежели поедешь с нами.

— Я сказал, что не поеду.

— Ну, так оставайся тут и доказывай *дипломату*; а мы приедем, он нам расскажет.

— И докажу, — возразил Нехлюдов с детским своеобразием, — только приезжайте скорей.

— Как вы думаете: я самолюбив? — сказал он, подсаживаясь ко мне.

Несмотря на то, что у меня на этот счёт было состав-

¹ Дорогой мой (*франц.*).

² Если я застенчив (*франц.*).

³ Знаете вы, отчего происходит ваша застенчивость?.. От избытка самолюбия, мой дорогой (*франц.*).

ленное мнѣние, я так оробѣл от этого неожиданнаго обращенія, что не скоро мог отвѣтить ему.

— Я думаю, что да,— сказал я, чувствуя, как голос мой дрожит и краска покрываетъ лицо при мысли, что пришло время доказатьъ ему, что я *умный*,— я думаю, что всѣйкий человекъ самолюбивъ, и все то, что ни дѣлаетъ человекъ,— все из самолюбія.

— Так что же, по-вашему, самолюбіе? — сказал Нехлюдовъ, улыбаясь нѣсколько презрительно, какъ мне показалося.

— Самолюбіе,— сказал я,— есть убѣжденіе в том, что я лучше и умнее всехъ людей.

— Да какъ же могутъ быть все в этомъ убѣждены?

— Уж я не знаю, справедливо ли или нетъ, только никто, кромѣ меня, не признается; я убѣжденъ, что я умнее всехъ на свѣтѣ, и увѣренъ, что вы тоже увѣрены в этомъ.

— Нетъ, я про себя перваго скажу, что я встречалъ людей, которыхъ признавалъ умнее себя,— сказал Нехлюдовъ.

— Не можетъ быть,— отвѣчал я с убѣжденіемъ.

— Неужели вы в самомъ дѣлѣ такъ думаете? — сказал Нехлюдовъ, пристально взглядываясь в меня.

— Серьезно,— отвѣчал я.

И тутъ мне вдругъ пришла мысль, которую я тотчасъ же высказалъ.

— Я вамъ это докажу. Отчего мы самихъ себя любимъ больше другихъ?.. Оттого, что мы считаемъ себя лучше другихъ, болѣе достойными любви. Ежели бы мы находили другихъ лучше себя, то мы бы и любили ихъ болѣе себя, а этого никогда не бываетъ. Ежели и бываетъ, то все-таки я правъ,— прибавилъ я с невольной улыбкой самодовольствія.

Нехлюдовъ помолчалъ с минутой.

— Вотъ я никакъ не думалъ, чтобы вы были такъ умны! — сказалъ онъ мнѣ с такой добродушной, милой улыбкой, что вдругъ мнѣ показалося, что я чрезвычайно счастливъ.

Похвала такъ могущественно дѣйствуетъ не только на чувство, но и на умъ человека, что подъ ея приятнымъ влияніемъ мнѣ показалося, что я сталъ гораздо умнее, и мысли одна за другою с необыкновенной быстротою набирались мнѣ в голову. С самолюбія мы незамѣтно перешли къ любви, и на эту тему разговоръ казался неистощимымъ. Несмотря на то, что наши рассужденія для посторонняго слушателя могли показаться совершенной бессмысли-

цею — так они были неясны и односторонни, — для нас они имели высокое значение. Души наши так хорошо были настроены на один лад, что малейшее прикосновение к какой-нибудь струне одного находило отголосок в другом. Мы находили удовольствие именно в этом соответственном звучании различных струн, которые мы затрагивали в разговоре. Нам казалось, что недостаёт слов и времени, чтобы выразить друг другу все те мысли, которые просились наружу.

Глава XXVII

НАЧАЛО ДРУЖБЫ



С той поры между мной и Дмíтрием Нехлюдовым установились довольно странные, но чрезвычайно приятные отношения. При посторонних он не обращал на меня почти никакого внимания; но как только случилось нам быть одним, мы усаживались в уютный уголок и начинали рассуждать, забывая всё и не замечая, как летит время.

Мы толковали и о будущей жизни, и об искусствах, и о службе, и о женитьбе, и о воспитании детей, и никогда нам в голову не приходило, что всё то, что мы говорили, был ужаснейший вздор. Это не приходило нам в голову потому, что вздор, который мы говорили, был умный и милый вздор; а в молодости ещё ценишь ум, веришь в него. В молодости все силы души направлены на будущее, и будущее это принимает такие разнообразные, живые и обворожительные формы под влиянием надежды, основанной не на опытности прошедшего, а на воображаемой возможности счастья, что одни понятия и разделённые мечты о будущем счастье составляют уже истинное счастье этого возраста. В метафизических рассуждениях, которые бывали одним из главных предметов наших разговоров, я любил ту минуту, когда мысли быстрее и быстрее следуют одна за другой и, становясь всё более и более отвлечёнными, доходят, наконец,

до такой степени туманности, что не видишь возможности выразить их и, полагая сказать то, что думаешь, говоришь совсем другое. Я любил эту минуту, когда, возносясь всё выше и выше в области мысли, вдруг постигаешь всю необъятность её и сознаёшь невозможность идти далее.

Как-то раз, во время масленицы, Нехлюдов был так занят разными удовольствиями, что хотя несколько раз на день заезжал к нам, но ни разу не поговорил со мной, и меня это так оскорбило, что снова он мне показался гордым и неприятным человеком. Я ждал только случая, чтобы показать ему, что несколько не дорожу его обществом и не имею к нему никакой особенной привязанности.

В первый раз, как он после масленицы снова хотел разговориться со мной, я сказал, что мне нужно готовить уроки, и ушёл наверх; но через четверть часа кто-то отворил дверь в классную, и Нехлюдов подошёл ко мне.

— Я вам мешаю? — сказал он.

— Нет, — отвечал я, несмотря на то, что хотел сказать, что у меня действительно есть дело.

— Так отчего же вы ушли от Володи? Ведь мы давно с вами не рассуждали. А уж я так привык, что мне как будто чего-то недостаёт.

Досада моя прошла в одну минуту, и Дмитрий снова стал в моих глазах тем же добрым и милым человеком.

— Вы, верно, знаете, отчего я ушёл? — сказал я.

— Может быть, — отвечал он, усаживаясь подле меня, — но ежели я и догадываюсь, то не могу сказать отчего, а вы так можете, — сказал он.

— Я и скажу: я ушёл потому, что был сердит на вас... не сердит, а мне досадно было. Просто: я всегда боюсь, что вы презираете меня за то, что я ещё очень молод.

— Знаете, отчего мы так сошлись с вами, — сказал он, добродушным и умным взглядом отвечая на моё признание, — отчего я вас люблю больше, чем людей, с которыми больше знаком и с которыми у меня больше общего? Я сейчас решил это. У вас есть удивительное, редкое качество — откровенность.

— Да, я всегда говорю именно те вещи, в которых мне стыдно признаться, — подтвердил я, — но только тем, в ком я уверен.

— Да, но чтобы быть уверенным в человеке, надо быть с ним совершенно дружным, а мы с вами не дружны ещё, Nicolas; помните, мы говорили о дружбе: чтобы быть истинными друзьями, нужно быть уверенным друг в друге.

— Быть уверенным в том, что ту вещь, которую я скажу вам, уже вы никому не скажете,— сказал я.— А ведь самые важные, интересные мысли именно те, которые мы ни за что не скажем друг другу.

— И какие гадкие мысли! такие подлые мысли, что, ежели бы мы знали, что должны признаваться в них, они никогда не смели бы заходить к нам в голову. Знаете, какая пришла мне мысль, Nicolas,— прибавил он, вставая со стула и с улыбкой потирая руки.— *Сделаемте* это, и вы увидите, как это будет полезно для нас обоих: дадим себе слово признаваться во всем друг другу. Мы будем знать друг друга, и нам не будет совестно; а для того чтобы не бояться посторонних, дадим себе слово *никогда ни с кем и ничего* не говорить друг о друге. *Сделаем* это.

— Давайте,— сказал я.

И мы действительно *сделали* это. Что вышло из этого, я расскажу после.

Карр сказал, что во всякой привязанности есть две стороны: одна любит, другая позволяет любить себя, одна целует, другая подставляет щеку. Это совершенно справедливо; и в нашей дружбе я целовал, а Дмитрий подставлял щеку; но и он готов был целовать меня. Мы любили ровно, потому что взаимно знали и ценили друг друга; но это не мешало ему оказывать влияние на меня, а мне подчиняться ему.

Самое собою разумеется, что под влиянием Нехлюдова я невольно усвоил и его направление, сущность которого составляло восторженное обожание идеала добродетели, и убеждение в назначении человека постоянно совершенствоваться. Тогда исправить всё человечество, уничтожить все пороки и несчастья людские казалось удобоисполнимой вещью,— очень легко и просто казалось исправить самого себя, усвоить все добродетели и быть счастливым...

А впрочем, бог один знает, точно ли смешны были эти благородные мечты юности, и кто виноват в том, что они не осуществились?..

ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСТВО

Сочинение графа Л. Н. Толстого¹

«Чрезвычайная наблюдательность, тонкий анализ душевных движений, отчетливость и поэзия в картинах природы, изящная простота — отличительные черты таланта графа Толстого». Такой отзыв вы услышите от каждого, кто только следит за литературою. Критика повторяла эту характеристику, внушенную общим глоссом, и, повторяя её, была совершенно верна правде дела.

Но неужели ограничиться этим суждением, которое, правда, заметило в таланте графа Толстого черты, действительно ему принадлежащие, но ещё не показало тех особенных оттенков, какими отличаются эти качества в произведениях автора «Детства», «Отрочества», «Записок маркера», «Метели», «Двух гусаров» и «Военных рассказов»? Наблюдательность, тонкость психологического анализа, поэзия в картинах природы, простота и изящество — всё это вы найдёте и у Пушкина, и у Лермонтова, и у г. Тургенева, — определять талант каждого из этих писателей только этими эпитетами было бы справедливо, но вовсе недостаточно для того, чтобы отличить их друг от друга; и повторить то же самое о графе Толстом ещё не значит уловить отличительную физиономию его таланта, не значит показать, что этот прекрасный талант отличается от многих других столь же прекрасных талантов. Надобно было охарактеризовать его точнее.

Нельзя сказать, чтобы попытки сделать это были очень удачны. Причина неудовлетворительности их отчасти заключается в том, что талант графа Толстого быстро развивается, и почти каждое новое произведение обнаруживает в нём новые черты. Конечно, всё, что сказал бы кто-нибудь о Гоголе после «Миргорода», оказалось бы недостаточным после «Ревизора», и суждения, высказавшиеся о г. Тургеневе, как авторе «Андрея Кобосова» и «Хоря и Калиныча», надобно

¹ Статья-рецензия Н. Г. Чернышевского «Детство и отрочество». Сочинение графа Л. Н. Толстого. СПб. 1856. Военные рассказы. Графа Л. Н. Толстого. СПб. 1856» была опубликована в журнале «Современник», 1856, № 8.

В настоящем издании статья печатается с сокращениями.

было во многом изменять и дополнять, когда явились его «Записки охотника», как и эти суждения оказались недостаточными, когда он написал новые повести, отличающиеся новыми достоинствами. Но если прежняя оценка развивающегося таланта непременно оказывается недостаточною при каждом новом шаге его вперёд, то, по крайней мере, для той минуты, как является, она должна быть верна и основательна. Мы уверены, что не дальше, как после появления «Юности», то, что мы скажем теперь, будет уже нуждаться в значительных пополнениях: талант графа Толстого обнаружит перед нами новые качества, как обнаружил он севастопольскими рассказами стороны, которым не было случая обнаружиться в «Детстве» и «Отрочестве», как потом в «Записках маркёра» и «Двух гусарах» он снова сделал шаг вперёд. Но талант этот, во всяком случае, уже довольно блистателен для того, чтобы каждый период его развития заслуживал быть отмечен с величайшею внимательностью. Посмотрим же, какие особенные черты он уже имел случай обнаружить в произведениях, которые известны читателям нашего журнала.

Наблюдательность у иных талантов имеет в себе нечто холодное, бесстрастное. У нас замечательнейшим представителем этой особенности был Пушкин. Трудно найти в русской литературе более точную и живую картину, как описание быта и привычек большого барина старых времён в начале его повести «Дубровский». Но трудно решить, как думает об изображаемых им чертах сам Пушкин. Кажется, он готов был бы отвечать на этот вопрос: «Можно думать различно; мне какое дело, симпатию или антипатию возбудит в вас этот быт? и я сам не могу решить, удивления или негодования он заслуживает». Эта наблюдательность — просто зоркость глаза и памятьливость. У новых наших писателей такого равнодушия вы не найдёте; их чувства более возбуждены, их ум более точен в своих суждениях. Не с равною охотою наполняют они свою фантазию всеми образами, какие только встречаются на их пути; их глаз с особенным вниманием всматривается в черты, которые принадлежат сфере жизни, наиболее их занимающей. Так, например, г. Тургенева особенно привлекают явления, положительным или отрицательным образом относящиеся к тому, что называется поэзией жизни, и к вопросу о гуманности. Внимание графа Толстого более всего обращено на то, как одни чувства и мысли развиваются из других; ему интересно наблюдать, как чувство, непосредственно возникающее из данного положения или впечатления, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представляемых воображением, переходит в другие чувства, снова возвращается к прежней исходной точке и опять и опять странствует, изменяясь по всей цепи воспоминаний; как мысль, рождённая первым ощущением, ведёт к другим мыслям,

увлекается дальше и дальше, сливает грёзы с действительными ощущениями, мечты о будущем с рефлексиею о настоящем. Психологический анализ может принимать различные направления: одного поэта занимают всего более очертания характеров; другого — влияния общественных отношений и житейских столкновений на характеры; третьего — связь чувств с действиями; четвертого — анализ страстей; графа Толстого всего более — сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души, чтобы выразиться определительным термином.

Из других замечательнейших наших поэтов более развита эта сторона психологического анализа у Лермонтова; но и у него она всё-таки играет слышком второстепенную роль, обнаруживается редко, да и то почти в совершенном подчинении анализу чувства. Из тех страниц, где она выступает заметнее, едва ли не самая замечательная — памятные всем размышления Печорина о своих отношениях к княжне Мери, когда он замечает, что она совершенно увлеклась им, бросив кокетничанье с Грушницким для серьёзной страсти.

«Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь» и т. д. «Из чего же я хлопочу? Из зависти к Грушницкому? Бедняжка! он вовсе её не заслуживает. Или это следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать сладкие заблуждения ближнего, чтоб иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить:

— Мой друг, со мною было то же самое, и ты видишь, однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно, и, надеюсь, сумею умереть без крика и слёз...» и т. д.

Тут яснее, нежели где-нибудь у Лермонтова, увлечен психический процесс возникновения мыслей, — и, однако ж, это всё-таки не имеет ни малейшего сходства с теми изображениями хода чувств и мыслей в голове человека, которые так любимы графом Толстым. Это вовсе не то, что полумечтательные, полурефлексивные сцепления понятий и чувств, которые растут, движутся, изменяются перед нашими глазами, когда мы читаем повесть графа Толстого, — это не имеет ни малейшего сходства с его изображениями картин и сцен, ожиданий и опасений, проносющихся в мысли его действующих лиц; размышления Печорина наблюдаются вовсе не с той точки зрения, как различные минуты душевной жизни лиц, выводимых графом Толстым, — хотя бы, например это изображение того, что переживает человек в минуту, предшествующую ожидаемому смертельному удару, потом в минуту последнего сотрясения нерв от этого удара...

Ни у кого другого из наших писателей не найдёте вы психиче-

ских сцен, подмеченных с этой точки зрения. И, по нашему мнению, та сторона таланта графа Толстого, которая даёт ему возможность уловлять эти психические монологи, составляет в его таланте особенную, только ему свойственную силу... Выражаясь фигуральным языком, он умеет играть не одной этой струной, может играть или не играть на ней, но самая способность играть на ней придаёт уже его таланту особенность, которая видна во всём постоянно. Так, певец, обладающий в своём диапазоне необыкновенно высокими нотами, может не брать их, если то не требуется его партней,— и всё-таки, какую бы ноту он ни брал, хотя бы такую, которая равно доступна всем голосам, каждая его нота будет иметь совершенно особенную звучность, зависящую собственно от способности его брать высокую ноту, и в каждой ноте его будет обнаруживаться для знатока весь размер его диапазона.

Особенная черта в таланте графа Толстого, о которой мы говорили, так оригинальна, что нужно с большим вниманием всматриваться в неё, и тогда только мы поймём всю её важность для художественного достоинства его произведений. Психологический анализ есть едва ли не самое существенное из качеств, дающих силу творческому таланту. Но обыкновенно он имеет, если так можно выразиться, описательный характер,— берёт определённое, неподвижное чувство и разлагает его на составные части,— даёт нам, если так можно выразиться, анатомическую таблицу. В произведениях великих поэтов мы, кроме этой стороны его, замечаем и другое направление, проявление которого действует на читателя или зрителя чрезвычайно поразительно: это — уловление драматических переходов одного чувства в другое, одной мысли в другую. Но обыкновенно нам представляются только два крайних звена этой цепи, только начало и конец психического процесса,— это потому, что большинство поэтов, имеющих драматический элемент в своём таланте, заботятся преимущественно о результатах, проявлениях внутренней жизни, о столкновениях между людьми, о действиях, а не о тайственном процессе, посредством которого вырабатывается мысль или чувство; даже в монодрамах, которые, по-видимому, чаще всего должны бы служить выражением этого процесса, почти всегда выражается борьба чувств, и шум этой борьбы отвлекает наше внимание от законов и переходов, по которым совершаются ассоциации представлений,— мы заняты их контрастом, а не формами их возникновения,— почти всегда монологи, если содержат не простое анатомирование неподвижного чувства, только внешнею отличаются от диалогов: в знаменитых своих рефлексиях Гамлет как бы раздвояется и спорит сам с собою: его монологи, в сущности, принадлежат к тому же роду сцен, как и диалоги Фауста с Мефистофелем, или споры маркиза

Поэты с Дон-Карлосом. Особенность таланта графа Толстого состоит в том, что он не ограничивается изображением результатов психического процесса: его интересует самый процесс,— и едва уловимые явления этой внутренней жизни, сменяющиеся одно другим с чрезвычайною быстротою и неистощимым разнообразием, мастерски изображаются графом Толстым. Есть живописцы, которые знамениты искусством уловлять мерцающее отражение луча на быстро катящихся волнах, трепетание света на шелестящих листьях, переливы его на изменчивых очертаниях облаков: о них по преимуществу говорят, что они умеют уловлять жизнь природы. Нечто подобное делает граф Толстой относительно таинственнейших движений психической жизни. В этом состоит, как нам кажется, совершенно оригинальная черта его таланта. Из всех замечательных русских писателей он один мастер на это дело.

Конечно, эта способность должна быть врождена от природы, как и всякая другая способность; но было бы недостаточно остановиться на этом слишком общем объяснении: только самостоятельную (нравственную) деятельностью развивается талант, и в той деятельности, о чрезвычайной энергии которой свидетельствует замеченная нами особенность произведений графа Толстого, надобно видеть основание силы, приобретённой его талантом. Мы говорим о самоуглублении, о стремлении к неутомимому наблюдению над самим собою. Законы человеческого действия, игру страстей, сцепление событий, влияние обстоятельств и отношений мы можем изучать, внимательно наблюдая других людей; но всё знание, приобретаемое этим путём, не будет иметь ни глубины, ни точности, если мы не изучим сокровеннейших законов психической жизни, игра которых открыта перед нами только в нашем (собственном) самосознании. Кто не изучил человека в самом себе, никогда не достигнет глубокого знания людей. Та особенность таланта графа Толстого, о которой говорили мы выше, доказывает, что он чрезвычайно внимательно изучал тайны жизни человеческого духа в самом себе; это знание драгоценно не только потому, что доставило ему возможность написать картины внутренних движений человеческой мысли, на которые мы обратили внимание читателя, но ещё, быть может, больше потому, что дало ему прочную основу для изучения человеческой жизни вообще, для разгадывания характеров и пружин действия, борьбы страстей и впечатлений. Мы не ошибёмся, сказав, что самонаблюдение должно было чрезвычайно изострить вообще его наблюдательность, приучить его смотреть на людей пронизательным взглядом.

Драгоценно в таланте это качество, едва ли не самое прочное из всех прав на славу истинно замечательного писателя. Знание чело-

вѣческаго сѣрдца, способность раскрывать перед нами его тайны — ведь это первое слово в характеристике каждаго из тех писателей, творения которых с удивлением перечитываются нами. И, чтобы говорить о графе Толстом, глубокое изучение человеческого сѣрдца будет неизменно придавать очень высокое достоинство всему, что бы ни написал он и в каком бы духе ни написал. Вероятно, он напишет много такого, что будет поражать каждаго читателя другими, более эффектными качествами, — глубинною идѣй, интересом концепцій, сильными очертаніями характеров, яркими картинами быта — и в тех произведениях его, которые уже известны публике, этими достоинствами постоянно возвышался интерес, — но для истиннаго знатока всегда будет видно — как, очевидно, и теперь — что знаніе человеческого сѣрдца — основная сила его таланта. Писатель может увлекать сторонами более блистательными; но истинно силен и прочен его талант только тогда, когда обладает этим качеством.

Есть в таланте г. Толстого ещё другая сила, сообщающая его произведениям совершенно особенное достоинство своею чрезвычайно замечательной свежестью — чистотой нравственнаго чувства. Мы не проповѣдники пуританизма; напротив, мы опасаемся его: самый чистый пуританизм вреден уже тем, что дѣлает сѣрдце суровым, жестким; самый искренний и правдивый моралист вреден тем, что ведёт за собою десятки лицемѣров, прикрывающихся его именем. С другой стороны, мы не так слѣпы, чтобы не видеть чистаго свѣта высочайшей нравственнаго идѣи во всех замечательных произведениях литературы нашего вѣка. Никогда общественная нравственность не достигала такого высокаго уровня, как в наше благородное время, — благородное и прекрасное, несмотря на все остатки вѣтхой грязи, потому что все силы своё напрягает оно, чтобы омыться и очиститься от наслѣдных грѣхов. И литература нашего времени, во всех замечательных своих произведениях, без исключенія, есть благородное проявленіе чистѣйшаго нравственнаго чувства. Не то мы хотим сказать, что в произведениях графа Толстаго чувство это сильнѣе, нежели в произведениях другаго какаго из замечательных наших писателей: в этом отношеніи все они равно высоки и благородны, но у него это чувство имѣет особенный оттѣнок. У иных оно очищено страданіем, отрицаніем, просветлено сознательным убежденіем, является уже только как плод долгих испытаній, мучительной борьбы, быть может, цѣлаго ряда паденій. Не то у графа Толстаго: у него нравственное чувство не восстановлено только рефлексіею и опытом жизни, оно никогда не колебалось, сохранилось во всей юношеской непосредственности и свежести. Мы не будем сравнивать того и другаго оттѣнка в гуманическом отношеніи, не будем говорить, который из них выше по абсолютному значенію — это дѣло философскаго или со-

циального трактата, а не рецензии,— мы здесь говорим только об отношении нравственного чувства к достоинствам художественного произведения и должны признаться, что в этом случае непосредственная, как бы сохранившаяся во всей непорочности от чистой поры юношества, свежесть нравственного чувства придаёт поэзии особенную — трогательную и грациозную — очаровательность. От этого качества, по нашему мнению, во многом зависит прелесть рассказов графа Толстого. Не будем доказывать, что только при этой непосредственной свежести сердца можно было рассказать «Детство» и «Отрочество» с тем чрезвычайно верным колоритом, с тою нежною грациозностью, которые дадут истинную жизнь этим повестям. Относительно «Детства» и «Отрочества» очевидно каждому, что без непорочности нравственного чувства невозможно было бы не только исполнить эти повести, но и задумать их. Укажем другой пример — в «Записках маркера»: историю падения души, созданной с благородным направлением, мог так поразительно и верно задумать и исполнить только талант, сохранивший первобытную чистоту.

Благотворное влияние этой черты таланта не ограничивается теми рассказами или эпизодами, в которых она выступает заметным образом на первый план: постоянно служит она оживительницею, освежительницею таланта. Что в мире поэтичнее, прелестнее чистой юношеской души, с радостной любовью откликающейся на всё, что представляется ей возвышенным и благородным, чистым и прекрасным, как сама она? Кто не испытывал, как освежается его дух, просветляется его мысль, облагораживается всё существо присутствием девственного душою существа, подобного Корделии, Офелии или Дездемоне? ¹ Кто не чувствовал, что присутствие такого существа навевает поэзию на его душу, и не повторял вместе с героем г. Тургенева (в «Фавсте»):

Своим крылом меня одень,
Волненья сердца утиши,
И благодатна будет сень
Для очарованной души...²

Такова же сила нравственной чистоты и в поэзии. Произведение, в котором вѣет её дыханье, действует на нас освежительно, мировторно, как природа,— ведь и тайна поэтического влияния природы

¹ Героини трагедий «Король Лир», «Гамлет» и «Отелло» В. Шекспира.

² Цитата не совсем точна. У Тургенева:

Крылом своим меня одень,
Волненья сердца утиши,—
И благодатна будет тень
Для очарованной души.

едва ли не заключается в её непорочности. Много зависит от того же вѣяния нравственной чистоты и граціозная прелесть произведѣній графа Толстото.

Эти две черты — глубокое знаніе тайных движеній психической жизни и непосредственная чистота нравственного чувства, придающіе теперь особенную физиономію произведѣніям графа Толстото, [всегда] останутся существенными чертами его таланта, какіе бы нѣкоторые стороны ни выказались в нём при дальнѣйшем его развитіи.

Само собою разумеется, что всегда останется при нём и его художественность. Объясняя отличительные качества произведѣній графа Толстото, мы до сих пор не упоминали об этом достоинствѣ, потому что оно составляет принадлежность, или, лучше сказать, сущность поэтическаго таланта вообще, будучи собственно только собирательным именем для обозначенія всей совокупности качеств, свойственных произведѣніям талантливых писателей. Но стоит вниманія то, что люди, особенно много толкующіе о художественности, наименее понимают, в чём состоятъ её условія. Мы гдѣ-то читали недоумѣнное относительно того, почему в «Дѣтствѣ» и «Отрочествѣ» нет на первом планѣ какой-нибудь прекрасной дѣвушки лет восемнадцати или двадцати, которая бы страстно влюблялась в какого-нибудь также прекраснаго юношу... Удивительные понятія о художественности! Да ведь автор хотѣлъ изобразить дѣтскій и отроческій возраст, а не картину пылкой страсти, и разве вы не чувствуете, что если бы он ввёл в свой рассказ эти фигуры и этот патетизм, дѣти, на которых он хотѣлъ обратить ваше вниманіе, были бы заслонены, их милые чувства перестали бы занимать вас, когда в рассказѣ явилась бы страстная любовь, — словом, разве вы не чувствуете, что единство рассказа было бы разрушено, что идея автора погибла бы, что условія художественности были бы оскорблены? Именно для того, чтобы соблюсти эти условія, автор не мог выводять в своих рассказах о дѣтской жизни ничего такого, что заставило бы нас забыть о дѣтях, отвернуться от них. Далее, там же мы нашли нечто вроде намѣка на то, что граф Толстой ошибся, не выставив картин общественной жизни в «Дѣтствѣ» и «Отрочествѣ»; да мало ли и другога чего он не выставил в этих повестях? в них нет ни военных сцен, ни картин итальянской природы, ни исторических воспоминаній, нет вообще многого такого, что можно было бы, но неумѣстно и не должно было бы рассказывать: ведь автор хочет перенести нас в жизнь ребёнка, — а разве ребёнок понимает общественные вопросы, разве он имѣет понятіе о жизни общества? Весь этот элемент столь же чужд дѣтской жизни, как лагерная жизнь, и условія художественности были бы точно так же нарушены, если бы в «Дѣтствѣ» была изображена общественная жизнь, как и тогда, если б изображена была в этой

повести военная или историческая жизнь. Мы любим не меньше кого другого, чтобы в повестях изображалась общественная жизнь; но ведь надобно же понимать, что не всякая поэтическая идея допускает внесение общественных вопросов в произведение; не должно забывать, что первый закон художественности — единство произведения, и что потому, изображая «Детство», надобно изображать именно детство, а не что-либо другое, не общественные вопросы, не военные сцены, не Петра Великого и не Фауста, не Индиану и не Рудина, а дитя с его чувствами и понятиями. И люди, предъявляющие столь узкие требования, говорят о свободе творчества! Удивительно, как не ищут они в «Илиаде» — Макбета, в Вальтере Скотте — Диккенса, в Пушкине — Гоголя! Надобно понять, что поэтическая идея нарушается, когда в произведение вносятся элементы, ей чуждые, и что если бы, например, Пушкин в «Каменном госте» вздумал изображать русских помещиков или выражать своё сочувствие к Петру Великому, «Каменный гость» вышел бы произведением нелепым в художественном отношении. Всем своё место: картинам южной любви — в «Каменном госте», картинам русской жизни — в «Онегине», Петру Великому — в «Медном всаднике». Так и в «Детстве» или «Отрочестве» уместны только те элементы, которые свойственны тому возрасту, — а патриотизму, героизму, военной жизни будет своё место в «Военных рассказах», страшной нравственной драме — в «Записках маркера», изображению женщины — в «Двух гусаках»...

Граф Толстой обладает истинным талантом. Это значит, что его произведения художественны, то есть в каждом из них очень полно осуществляется именно та идея, которую он хотел осуществить в этом произведении. Никогда не говорит он ничего лишнего, потому что это было бы противно условиям художественности, никогда не безобразит он свой произведение примесью сцен и фигур, чуждых идее произведения. Именно в этом и состоит одно из главных требований художественности. Нужно иметь много вкуса, чтобы оценить красоту произведений графа Толстого; но зато человек, умеющий понимать истинную красоту, истинную поэзию, видит в графе Толстом настоящего художника, то есть поэта с замечательным талантом.

Этот талант принадлежит человеку молодому, с свежими жизненными силами, имеющему перед собою ещё долгий путь — многое новое встретится ему на этом пути, много новых чувств будет ещё волновать его грудь, многими новыми вопросами займётся его мысль, — какая прекрасная надежда для нашей литературы, какие богатые новые материалы жизнь даёт его поэзии! Мы предсказываем, что всё, данное доньше графом Толстым нашей литературе, только залюги того, что совершит он впоследствии; но как богаты и прекрасны эти залюги!

ДЕТСТВО

Глава I. Учитель Карл Иванович	3	Глава XV. Дѣтство	48
Глава II. Матап	8	Глава XVI. Стихи	50
Глава III. Папá	11	Глава XVII. Княгиня Корна-	
Глава IV. Клáссы	15	кóва	56
Глава V. Юрòдивый	18	Глава XVIII. Князь Иван Ива-	
Глава VI. Приготовлѣния к		нѣч	59
охóте	22	Глава XIX. Ивины	63
Глава VII. Охóта	25	Глава XX. Собираются гóсти	70
Глава VIII. Игры	29	Глава XXI. До мазурки	74
Глава IX. Чтó-то врòде пѣрвой		Глава XXII. Мазурка	78
любви	31	Глава XXIII. После мазурки	80
Глава X. Чтó за человек был		Глава XXIV. В постѣли	83
мой отѣц?	32	Глава XXV. Письмó	85
Глава XI. Заня́тия в кабинéте		Глава XXVI. Чтó ожида́ло нас	
и гóстíной	34	в деревне	90
Глава XII. Грíша	37	Глава XXVII. Гóре	92
Глава XIII. Натáлья Сáвишна	40	Глава XXVIII. Последнiе гру-	
Глава XIV. Разлúка	43	стныя воспоминáния	94

ОТРОЧЕСТВО

Глава I. Поѣздка на дóлгих	104	Глава XV. Мечты	147
Глава II. Грозá	110	Глава XVI. Переমে́лется, мукá	
Глава III. Нóвый взгляд	114	бúдет	151
Глава IV. В Москвѣ	118	Глава XVII. Ненависть	157
Глава V. Стáрший брат	119	Глава XVIII. Дѣвичья	157
Глава VI. Мáша	122	Глава XIX. Отрочество	161
Глава VII. Дрòбь	124	Глава XX. Волóдя	164
Глава VIII. Истóрия Кáрла		Глава XXI. Кáтенька и Лю-	
Ивáныча	127	бóчка	167
Глава IX. Продолжѣние пре-		Глава XXII. Папá	168
дыдúщей	130	Глава XXIII. Бáбушка	171
Глава X. Продолжѣние	134	Глава XXIV. Я	173
Глава XI. Единица	136	Глава XXV. Прiятели Волóди	174
Глава XII. Ключик	141	Глава XXVI. Рассуждѣния	176
Глава XIII. Измѣнница	143	Глава XXVII. Начáло дрúжбы	180
Глава XIV. Затмѣние	145		
Н. Г. Чернышевский. Дѣтство и отрочество. (Сочинѣние графа			
Л. Н. Толстóго.) 183			

Для восьмилетней и средней школы

Лев Николаевич Толстой

ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО

Ответственный редактор Г. В. Кузнецова. Художественный редактор В. А. Горячева. Технический редактор Р. Б. Сиголаева. Корректоры В. К. Мирингоф и З. С. Ульянова. Сдано в набор 4/IV 1974 г. Подписано к печати 12/VIII 1974 г. Формат 84×108^{2/32}. Бум. типогр. № 2. Печ. л. 6,25. Усл. печ. л. 10,5. Уч.-изд. л. 10,4+4 вкл.=10,82. Тираж 100 000 экз. Заказ № 2541. Цена 55 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва. Центр. М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росгавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москва. Сушевский вал, 49.